

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ...



Якушкин Иван Георгиевич, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник института физики атмосферы РАН им. Обухова
Якушкина (Татаринова) Мария Федоровна (16.05.1892 – 3.03.1965 гг.)

Аннотация. На примере семьи М.Ф. Якушкиной (Татариновой) показано восприятие русской революции 1917 года и последовавших за ней событий.

Ключевые слова: Русская революция, красные, белые.

THE ROAD TO CALVARY

Yakushkin I.G., Doctor of physico-mathematical Sciences,
leading researcher (Moscow)

Yakushkina (Tatarinova) M.F.
(Moscow)

Abstract. The example of the family M. F. Yakushkina (Tatarinova) shows the perception of the Russian revolution of 1917 and the ensuing events.

Key words: Russian revolution, red, white.

Часть I.

Мария Федоровна Якушкина (Татаринова)*

Автор публикуемых воспоминаний Мария Федоровна Якушкина была дочерью либерального общественного деятеля предреволюционной эпохи Ф.В. Татаринова и болгарки по происхождению М.А. Топаловой. Ф.В. Татаринов был активным участником земского движения и депутатом Первой и Второй Государственной Думы от партии конституционных демократов. Его жена была племянницей известного болгарского писателя Любена Каравелова и переехала в Россию после гибели родителей во время русско-турецкой войны. У Татариновых

было четверо детей: Александра, Варвара, Мария и Юрий. Все они выросли незаурядными людьми, обладавшими высокой культурой, усвоенным от родителей демократизмом и верой в лучшие стороны человеческой природы. Они были достойными представителями того поколения русской интеллигенции, на долю которого выпали тяжелейшие испытания первой половины двадцатого века, того жизненного пути, который заслуженно получил название «хождения по мукам». Юрий был участником Первой мировой войны, а сестры Татариновы работали как сестры милосердия. Воспоми-

* Автор И.Г. Якушкин.



нания Александры и Варвары об этом этапе их жизни опубликованы в журнале «Наше наследство» (т. 110, 2014). Известный земский деятель В.А. Оболенский писал о семье Татариновых: «Семья по складу своей жизни была пережитком тургеневских времен. Она состояла из на редкость красивой жены и четырех детей. Их орловская квартира была всегда грязна, нуждалась в ремонте, мебель потерта, из кресел и диванов торчал волос. Но художественная прелесть таких старых дворянских гнезд состояла как раз в свободе от норм мещанского бюджета. На рваных креслах всегда сидели гости, которые чувствовали себя уютно, как дома. Некоторые оставались обедать и ужинать. Ели скромно. Но всем хватало. Летом, когда семья переезжала в свое имение, на праздники и воскресения к ним также съезжались орловские знакомые. Ночевали кто на кроватях, кто на полу. Гуляли, пели песни, запоем играли в крокет. Этот дом в Орле был единственным центром, в котором встречались люди из двух замкнутых кругов: местной аристократии и местной интеллигенции. Бывали у них и земцы из разных политических лагерей, бывали представители третьего элемента – агрономы, статистики, студенты, гимназические подружки дочерей. Всегда было шумно и весело. Игры молодежи чередовались с музыкой, музыка – со спорами на философские, литературные и политические темы. Споры чисто русские, безбрежные, тянувшиеся далеко за полночь» (В.А. Оболенский. *Моя жизнь. Мои современники*. – Париж: YMGA-Press. – 1988).

Судьба трех сестер Татариновых, отраженная в их дневниках и воспоминаниях, сложилась драматически, но по-разному. Различалось также и их отношение к происходившим событиям. Накануне революции 1905 года Александра против воли отца вышла замуж за Лаврентия Пушина, внука декабриста, но тем не менее человека монархических убеждений. Политические события привели к резкому разрыву между семьями из-за различий в оценках событий. Вторая дочь Варвара в 1911 году стала женой В.С. Муромцева, сына друга семьи Татариновых, председателя 1-ой Государственной Думы С.А. Муромцева, а Мария в 1913 году вышла замуж за своего троюродного брата, агронома И.В. Якушкина, также потомка декабриста, но принадлежав-

шего к семье традиционно левых взглядов. Во время Первой мировой войны все члены семьи оказались участниками событий. Брат Юрий ушел в армию, а мать и сестры работали в госпиталях.

Февральская революция была воспринята ими по-разному, и с этого момента судьбы их разошлись. Монархически настроенная семья Александры Федоровны тяжело переживала судьбу царской фамилии.

Остальные члены семьи отнеслись к Февралю, как к долгожданному событию, хотя в будущее смотрели с тревогой. Изменение отношения к революции с течением времени хорошо видно по высказываниям людей их круга. При первых известиях о столкновениях населения с войсками друг семьи Татариновых, вольноопределяющийся Николай Кудряшов записывал:

«2 марта. 1917 года.

В России начинается революция. Надвигается что-то грозное, ужасное, кровавое. Смутные слухи – были, кажется, вчера беспорядки в Петрограде и Москве. Дума, кажется, распущена. Кажется, останавливаются железные дороги. По крайней мере была получена срочная телеграмма, приехал полковник, и мы экстренно едем куда-то, в Петроград, кажется, но ничего неизвестно. Собираемся и скоро, очень скоро едем в Л., а оттуда на А. Что будет, не знаю. Что делать – не знаю. Беспорядки – это поражение, но и нельзя терпеть... Тревожные слухи растут и в Л. Должно быть, они вырастут до чудовищных размеров. Может быть, поедem через Москву, и тогда я надеюсь забежать домой. А что будет? Что будет?

11 марта. Свершилось!»

А через несколько дней молодой казачий офицер, ставший летчиком, от которого до нас дошло только имя, писал Варваре Татариновой:

«Не удивляйся, что я на время замолк. Я не в состоянии был что-либо не только делать, но и думать. Радость моя так громадна, что я просто-таки обалдел от нее. Скажи мне, неужели все это правда и впереди только один свет и ничего грязного не будет? У меня так светло, так чисто в душе, как будто я вновь родился. Я верю, что скоро на земле будет рай и ничто темное не коснется его. Мне кажется, что силы мои удвоились, что работа не будет только обязанностью, мне хочется ее, но я сейчас не могу



положительно ни за что взяться. В настоящее время я способен только радоваться. Уверен теперь, что, если погибну, то только за Родину, а не за тех, кому она была не дорогой и которые не добра и счастья ей желали, а гибели. Такого подъема, такого единодушия я никогда не видел. Это что-то сверх поразительное. Конечно, все, положительно все, отошло на задний план. Ни о чем другом абсолютно не хотелось думать. Не страшны нам немцы теперь, лишь бы не покинуло нас единодушие и не забыли, что они стоят перед нами и ждут момента, чтобы, воспользовавшись этим временным замешательством, раздавить нас. Понемногу я начинаю приходить в себя и прежде всего, что я вспомнил, это война. Нам здесь не надо ни о чем другом думать, чтобы не отвлекаться и не терять своей энергии. Этого я могу достигнуть и думаю, что не так уж будет трудно. Моя новая работа очень по сердцу, на нее-то и хочу отдать все свои силы. Уверенность в себе есть и, мне кажется, сил тоже достаточно. Летал всего лишь два раза. Сегодня моя очередь идти на разведку, но погода испортилась, полет отложили до следующего дня. Ну, пока, всего, всего лучшего. Твой Шурик».

Ф.В. Татаринов, друг первого председателя Временного правительства князя Львова, был послан правительственным комиссаром в занятый русскими войсками турецкий город Трапезунд, а позже сделан сенатором. М.А. Татаринова так описывает этот период их жизни:

«Мы процарствовали в Трапезунде недолго. Было там очень опасно, очень тревожно, для Фед. Вас. Очень утомительно, но красиво и интересно, поразительно. Фед. Вас. и оттуда, и из Тифлиса ни за что не хотели пускать все инородцы и народы, но, оказывается, он уже с 10 мая был назначен сенатором, а мы ничего не знали в Трапезунде, не получая газет. Выходила на миноносце в лунную ночь (на носу под пушкой, а то очень качало). В морской бинокль все искали угрожающую лодку, я же лежала, любовалась луной, звездами, слышала, как плескались дельфины».

Очень скоро однако все Татариновы стали осознавать надвигавшуюся на Россию тяжелую разруху. По возвращении с Кавказа М.А. Татаринова пишет: «Настоящее безнадежно (в общественном отношении да и в личном неважно)».

Когда в начале 1918 года на юге зарождалось Белое движение, Ф. Татаринов с женой, его сын Юрий присоединились к нему, а после разгрома Деникина эмигрировали. Л.И. и А.Ф. Пузины сразу после Октября через Финляндию и Норвегию эмигрировали в Англию, где жизнь их семьи сложилась достаточно благополучно.

Варвара Татаринова, которая к этому времени разошлась с мужем, войну провела на фронте в качестве сестры милосердия. После окончания войны в конце 1918 года оказалась в одиночестве в Москве. Об ее настроении говорит такое стихотворение в прозе:

«Была семья... цельная и сплоченная, теплая и нежная, связанная живой любовью.

Как солнце в майский день, согревала она душу, как раннее утро, вливала бодрость в усталое сердце.

Был старый, заросший дикий сад... Развесистые, мохнатые липы тянулись длинными аллеями, прикрывая своими тенистыми лапами перистые листья папоротника. Старые яблони каждую весну убирались пышным розовым цветом, и синели кусты сирени над ползаросшим прудом. Пахучие кусты жасмина прижимались к воздушным, нежным лиственницам, и дикие розы покачивали своими кудрявыми головками в сторону гордых пестрых георгинов. На берегу и плотине росли серебристые ивы, и молодые березы купали в воде свои гибкие ветви.

Была старинная часовня с белыми колоннами... Тихо и мирно было вокруг, голуби летали, кружась над покосившимся крестом. Каменные ступени заросли дикими травами, полевыми цветами. Маленькие корявые березки выросли на крыше, и кусты бузины ползали по крыльям двери...

Было ли? Или мне приснилось, почудилось в светлую майскую ночь...»

Весной 1919 г. В.Ф. Татаринова уехала в Воронеж, к сестре, откуда в поисках родителей перебралась на юг. Горячая любовь к семье, к родителям заставляла двух младших сестер жертвовать всем, ради попыток встретиться с матерью, отцом, братом. В конце 1919 года она вместе с родителями и братом эмигрировала в Болгарию, позже – во Францию, где и умерла в годы войны. Ее родители умерли в предвоенные годы. Младший брат Варвары, Юрий Федорович Татаринов, в годы войны был участ-



ником французского Сопротивления, а в 1950 году с женой и детьми вернулся в СССР, где его судьба также оказалась непростой (Он жил и умер в городе Тамбове).

Младшая дочь Мария 1918-1919 годы провела в Воронеже, где ее муж И.В. Якушкин работал в это время профессором Воронежского сельскохозяйственного института. Осенью 1917 года в имении Татариновых Хотетове родилась маленькая Наташа, после чего М.Ф. с дочкой уехала в Воронеж к мужу. В Воронеже семья Якушкиных прожила до конца лета 1919 года, когда город был занят частями Деникина. В это время родители М.Ф. и брат были у белых на Кавказе или в Крыму. Туда же пробиралась и Варвара Федоровна, приехавшая в Воронеж из Москвы в мае 1919 года и прожившая с М.Ф. около месяца. Когда красные снова начали наступать на Воронеж, Иван Вяч. и М.Ф. решили уйти с белыми. Погрузив вещи на арбу, запряженную волами, которыми управляла М.Ф., они двинулись по направлению к Курску. В Курске находилась в это время мать Ивана Вяч. Ольга Ник. и его сестра Ольга Вяч., приехавшая к матери из Саратова. В Курске Иван Вяч. и М.Ф. расстались. И.В. не хотел оставить мать, а М.Ф. искала своих родителей. Она предполагала, что родители в Крыму, но попала на Кавказ, где шло быстрое наступление красных, и найти родителей она не смогла. И.В. удалось отправить мать и сестру в Петроград, после чего он отправился на поиски жены и дочери в Крым, куда сначала собиралась ехать М.Ф. В Крыму, где были белые, И.В. встретился с другом семьи Якушкиных В.И. Вернадским и также, как последний, стал преподавать в Симферопольском университете. При бегстве белых И.В. собирался эмигрировать вместе с ними. По воспоминаниям Вернадского, он вместе с Якушкиным сидел в коляске, чтобы ехать в Севастополь, но в последний момент они решили остаться. После прихода красных семье Якушкиных удалось воссоединиться. Весной 1922 года в Крым из Воронежа приехал Владимир Митрофанович Бунин. Он работал с И.В. в СХИ и был к тому же членом партии. Он пригласил И.В. вернуться в Воронеж, что И.В. боялся сделать, т.к. ушел оттуда с деникинцами. Бунин заверил И.В., что его за это не будут преследовать. Мария

Федоровна всю жизнь была благодарна Бунину, хотя и подсмеивалась над ним, уверяя, что он так ленив, что ложится спать, не разуваясь. В Симферополе все очень сожалели об отъезде И.В., т.к. его энергия спасла сотрудников университета и студентов от голодной смерти. С И.В. в Воронеж уехала группа выдающихся учеников, получивших позднее большую известность и остававшихся близкими друзьями семьи. В 1923 году у Якушкиных родился сын Дмитрий, а в 1930 году И.В. был арестован как противник коллективизации. Частичное изменение отношения к научным кадрам в середине 30-х позволило И.В. выйти из заключения и вернуться к работе в качестве профессора ТСХА. Он умер в 1960 году. Его жена Мария Федоровна скончалась в 1965 году.

Как и ее сестры, М.Ф. была женщиной необыкновенной силы духа и ярких талантов, ей принадлежат выдающиеся по своим достоинствам, хотя и не опубликованные поныне переводы немецких поэтов, а также оригинальные поэтические и прозаические произведения для детей и взрослых. Написанные в разные годы воспоминания М.Ф. Якушкиной содержат описание отдельных эпизодов эпохи Революции и Гражданской войны, а также яркие портреты рядовых участников происходивших в 1917-1921 годах событий. М.Ф. была человеком исключительно широкого образования с замечательным знанием русской и европейской литературы и истории. С особой любовью она относилась к природе, животным и растениям. Главными учителями жизни для себя она считала Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко и М.А. Волошина. Она была близко знакома с членами семей первых двух писателей, а Волошина хорошо знала лично и помнила наизусть все его тогда не напечатанные стихотворения о революции. Главным ее убеждением было то, что в каждом человеке существует доброе начало, которое откроется, если к нему отнестись с доверием. Подобное отношение к людям помогло М.Ф. преодолеть все выпавшие на ее долю испытания. К Октябрьской революции она, как и ее муж, сначала отнеслась отрицательно, но потом признала ее закономерность и историческую необходимость, хотя всегда тяжело переживала все акты насилия.



Часть II. Годы революции*

1917 год

Весна 1917 года была для меня очень грустной весной. С самого начала революции, т.е. с февраля, я лежала. Только в конце апреля мне сделали операцию аппендицита, и на семейном совете было решено, что Юра меня отвезет в Хотетово. Семейный совет состоял из Вари, Вани и Юры. Я не имела голоса. Я лежала, молчала и думала. Я вспоминала. Как мы радостно встретили Февральскую революцию. Я из Петровского-Разумовского помчалась пешком в Москву к Варечке, которая жила у своей невестки Ольги Сергеевны Родионовой, урожденной Муромцевой, на Zubовском бульваре. Варя служила в санитарном поезде и приехала в отпуск в Москву. Мне казалось, что у меня выросли крылья. От Петровского до Zubовской площади было добрых 8 километров, а мне надо было в тот же день идти обратно, так как Ваня не знал, что я ушла. Он с утра пошел в лабораторию. Он ушел сияющий, но когда я его попросила не уходить или, вернее, идти со мной в Москву, он сказал, что никто не получал от Иверонова (директора) отпуска и что его обязанность быть в лаборатории.

Как было хорошо идти по Москве. Вместе со мной шло много студентов. Ведь не только трамвай, но и наш паровичок не ходил. Навстречу нам проскакал взвод казаков, у них у каждого был красный бант. Они смеялись и помахали нам саблями тоже с красными бантами. Мы им тоже помахали руками и фуражками. Вот и Бутырки. Я ненавидела Бутырскую тюрьму и всегда проезжала мимо нее с тяжелым чувством — здесь сидел Ваня (арестованный на короткое время за статью о передаче земли крестьянам). Сейчас огромные ворота были открыты студентами. Мы вошли. Мы все вошли во двор. Более предприимчивые прошли в саму тюрьму. Раскрылись окна. Из окон во двор полетели цепи с криками: «Да здравствует свобода, равенство, братство. Ура!» — «Ура» — ответили мы радостно. Я стояла во дворе и думала: «Никогда, никогда уже не захлопнутся эти ворота. Мы их раскрыли навек». Вот Садовая. Сколько народу! И откуда столько красных гвоздик? Я тоже купила красных гвоздик.

После моего путешествия к Варе я заболела, у меня был приступ аппендицита и, кроме того, была еще беременность.

Теперь они на семейном совете решали мою судьбу. Юра меня везет в Хотетово и оставит там. Сам Юра служит в кавалерийском полку, стоящем в Орле, и сможет каждое воскресенье меня навещать.

С тех пор, как Юра меня довольно благополучно довез, я жила в Хотетове. Юра приезжал каждое воскресенье. А я была одна в нашем большом доме, в парке, всюду, всюду. Наш управляющий жил в старом доме, там же спали птичница Соломанида и Маша, ухаживающая за мной, — она боялась и спала вместе с Соломанидой. Я спала одна в новом доме в мамочкиной комнате. В ногах у меня спала Джесси, мой фокстерьер, а под окном две большие дворняжки Барбос и Шарик. И чего мне было бояться? У нас в деревне никогда не случалось не только грабежа, но и воровства. Правда, в середине лета Юра оставил мне револьвер, т.к. много народу приходило с фронта, и было неспокойно, но я не умела стрелять. А потом все, что совершалось, было далеко там, в далеком мире. А у нас была тишина.

Я, прежде всего, занималась хозяйством, садом, поденными девушками. Каждый месяц я, как всегда, выдавала «месячину» многочисленным старичкам и старушкам. Почему выдавалась «месячина», я не знаю, да и никто не знал. Думаю, что это осталось от крепостного права. Новыми были какие-то бумаги и постановления Временного правительства, которые я не знала, как и куда применить. Приезжал из Орла Юра и сердито рассказывал, что солдаты-кавалеристы ничего не хотят делать. Перестали чистить лошадей, да это что? — не дают им корму, не водят на водопой. «Я сам все делаю, видишь, ударил Вороной, он не хотел мне даваться чистить и ударил в голову, хорошо еще, что я отклонился». Юра засмеялся: «Правда, солдаты, видя, что один сено таскаю, стали помогать». Я им говорю: «Есть ли у вас совесть? Чем лошади виноваты?»...

Однажды Маша прибежала ко мне испуганная — Алексей пришел. Алексей был ее муж, который сильно бил и избивал Машу. Маша убежала от него ко мне вместе с маленькой трехлетней дочерью. К нашему огорчению, Алексея выбрали комиссаром. Я сказала Маше, что бояться нечего, и с полным сознанием сво-

* Воспоминания М.Ф. Якушкиной (Татариновой).



ей правоты выслала к нему в переднюю Соломаниду сказать, что я его не приму. Это конец лета. Хлеба уже помолотили и свезли, начали поспевать яблоки...

С 1905 года, когда папа получил наследство от бабушки и отдал почти всю землю крестьянам, наше хозяйство стало несложно. Пахотной земли с лугами осталось 250 гектар и 50 гектар сада. Я старалась сама многое сделать, но в последнее время я все передала в руки Трофима Никитовича, так как уже шел 7-й месяц беременности и моя рана от операции начинала сильно болеть.

Как-то пришли старики звать меня на сход. «А где сход?» – спросила я. «Около церкви». «Так это 2 километра, как быть, я до церкви не дойду, а доктор запретил мне ездить?» Я вопросительно посмотрела на стариков. «Мы к тебе комиссара посылали, а ты не пожелала с ним говорить», – сказал Петр Семенович. Петр Семенович держался сурово. Это был белобрысый старик, бривший бороду. У него был лучший огород в деревне, и я была дружна с его умершей дочерью. Я рассердилась: «Я вашего комиссара знать не хочу. Нашли кого выбрать – пьяницу». «Он зато на все руки мастер». – «Мастер только драться», – сказала я. Петр Семенович усмехнулся. «Ну, хорошо. Я вижу тебе и впрямь не дойти до церкви. Я скажу старичкам – сход сам к тебе придет».

Я попросила поставить для схода на балконе скамейки и стулья, но почти весь сход уселся на широкой балконной лестнице, где сидела я. Сход был большой и бурный. Была вся деревня, кроме баб. Алексей мне предъявил много требований. Здесь, на сходе, он держал себя хотя скромно, но более уверенно, изредка все же боязливо поглядывая на меня. Я с детства привыкла к сходу относиться с почтением. Кроме того, я была настроена очень революционно и твердо была наставлена Ваней в том, что земля принадлежит крестьянам. Почти все их требования мне казались законными, но приходилось возражать против своего убеждения. Решительнее всех держался Петр Семенович. Требования схода были следующие: всю землю, весь скот, лошадей и урожай я отдаю крестьянам. Мне крестьяне оставляют дом, сад, луга, примыкающие к саду, 2 коровы и 2 лошади. Кроме того, мне оставляют зерно, солому и сена на один год. Мужики также ска-

зали, что бабы требуют позволения стирать в большом пруду. На последнее требование я не согласилась сейчас же. Я сказала, что сначала папой были отданы им два пруда около самой деревни. В них не только стирали, но мыли овец, брали воду для полива, причем въезжали с лошадьми и бочками в пруд, и пруды высыхали настолько, что вода была только ранней весной. Потом папа отдал им средний пруд. Этот пруд, как и большой, наполнялся ключами, и из него постоянно вытекал большой ручей. Теперь и средний пруд никуда не годится. Вы сами говорите, что не только купаться, но стирать там нельзя, а ведь еще в том году маленькие ребята там купались. Единственный пруд остался, где купается вся деревня, – это большой. Вот послушайте... С большого пруда раздавались веселые крики ребят и девочек. Девушки купались с этой стороны, где были мостки, а ребята – с той стороны. Пруд был настолько велик, что его переплывали редко. «Так вот, – продолжала я, – я своего согласия не даю». Думаю, что и Петр Семенович, если подумает, со мной согласится. Относительно вашего первого и главного требования о земле – дело не так просто. Я думаю, что вы правы, требуя от меня отдачи вам всей земли. «Но вот, – я вам хотела показать, – бумага от Правительства. В ней категорически сказано, чтобы я ничего не отдавала до правительственного распоряжения. Там сказано, что я ни пудом зерна не могу располагать, и молочный скот находится на учете. Я удивляюсь, что Алексей мне предъявляет от вашего имени такие требования, между тем, он сам принес мне эту бумагу и хорошо знает ее содержание». Петр Семенович посмотрел озадаченно на Алексея. Алексей смущенно передвинул фуражку и молчал. «Я сама не знаю, как быть, – продолжала я. – Если мне нельзя продавать хлеб, то как же я расплачусь с поденными. Мне сейчас до зарезу нужны 50 рублей, а у меня их нет». – «А как с лошадьми, Мария Федоровна?» – спросил Михаил, пожилой мужик с хитрым лицом, почему-то прозванный Куропаткиным. «Какие лошади?» «Ваши лошади. О них ничего в бумаге не сказано. Вы их продайте, и деньги будут». «В бумаге не сказано, – нерешительно возразила я, – но как же я без лошадей работать буду?» – «Вы рабочих не продавайте, а молодых. Продайте мне Нону. Зачем Вам трехлетка? А я сейчас Вам за нее



50 рублей дам». Куропаткин быстро полез в карман. Трофим Никитович, присутствовавший на сходе, недовольно крикнул. Трофима Никитовича я помнила столько, сколько помнила себя. Он был еще управляющим у бабушки и, как говорили, ухаживал за няней. Да за кем он не ухаживал? Все в деревне знали, что Трофим Никитович очень любит женщин и больше всего на поле бывал там, где были бабы. Это был очень красивый старик с правильными чертами лица и густыми курчавыми волосами. Я знала, что Трофим Никитович не был настроен так революционно, как я. Кроме того, я знала, что сильная, красивая Нона стоит гораздо больше 50 рублей, а потом, законно ли продавать лошадь? С одной стороны, как на это посмотрит Правительство, думаю, плохо. С другой стороны, Нона принадлежит крестьянам вообще и должна быть распределена, а не продаваться. Я это и высказала. Но Куропаткин мне возразил, что принадлежит она крестьянам или нет – это еще бабушка надвое сказала, ведь вот в бумаге запрещают продавать скот, почему? Куропаткин оглянулся на сход, крестьяне молчали, я не знала, что ответить.

«Давай, продавай лошадь! – решительно сказал Куропаткин. – Трофим Никитович, принимай деньги». Михаил быстро вынул деньги, отсчитал и передал Трофиму Никитовичу, который принял их очень неохотно...

Почти весь сход разошелся. Я сидела, задумавшись, на приступочке и смотрела на заходящее за аллеей солнце. С пруда все еще неслись голоса. В воздухе парил и громко кричал копчик, в кустах сирени ворковали горлинки...

Петр Семенович, еще продолжавший сидеть на ступеньках, посмотрел на меня: «Посмотрю я на тебя, Матичка, – сказал он совсем другим голосом, чем говорил на сходе, и употребляя мое детское, уменьшительное имя, – недавно ты тут девочкой босая бегала вместе с моей Дуней, а сейчас скоро свой ребенок будет. Скоро уж?» – «Скоро, – сказала я, улыбаясь. – Через месяц или полтора». – «Ну, дай тебе Бог». Петр Семенович замолчал и, видимо, тоже задумался: «Муж-то у тебя хороший. Говорят, богатый. Имение от бабушки Аграфены Алексеевны все ему достанется». Я засмеялась: «Какое имение? Теперь не будет имений. Теперь все поровну разделят». Я говорила убежденно и весело. Петр Семенович посмо-

трел на меня и покачал головой. Что он хотел этим сказать? Что он мне не верит или что я глупая еще девочка, несмотря на ребенка, и ничего не понимаю?...

1919 – 1921 гг.

Наташе было год и 9 месяцев, когда я с ней попала в Краснодар (Екатеринодар). Как я попала сюда, когда ехала в Крым? Это была случайность. Поезда в то время ходили часто не туда, куда должны были идти, а туда, куда можно было проехать. Такие передвижения часто случались в 1919 году. Я в Краснодаре не знала ни одного человека. Деньги у меня еще были, но как, где я устроюсь, даже где я буду ночевать, я не знала. Высадились на вокзале, я пошла в институт табаководства, решив, что там, наверное, знают Ивана Вячеславовича. Я шла туда в полной уверенности, что мне не только помогут устроиться, но будут рады все сделать для Ивана Вячеславовича. Эта уверенность в людях не только не покидала меня никогда, но всегда оправдывалась. Я часто замечала, что люди повертываются той стороной, какой ты хочешь и в которую веришь.

В то время в Краснодаре официально были белые, но красные наступали, и многие уже уезжали из Краснодара. Город был охвачен волнением. Когда я пришла в институт, там проходило собрание. В зале были слышны громкие, взволнованные голоса. Я вошла в зал, неся на одной руке Наташу, а в другой – тяжелый чемодан. Председатель, говоривший в эту минуту, замолчал, с удивлением глядя на меня, спросил, что мне угодно? Я сказала, что я жена Ивана Вячеславовича Якушкина, что вместо Крыма случайно попала в Краснодар и что мне негде ночевать. Я спустила с рук Наташу, поставила чемодан. Моя полная уверенность, что они мне помогут, видимо, подействовала на председателя, и он, подумав, сказал, что пока я могу ночевать в лабораторных комнатах на диване, но днем я должна буду все убирать и уходить на время занятий, а как после смогу устроиться, они подумают. Я вышла, села на указанный мне диван и стала раздевать Наташу.

На другой день председатель, он же директор института, предложил мне работать в институте машинисткой. «А Наташа? – спросила я. – Ведь я буду занята до 8 часов, а где же будет Наташа?» Он сказал, что у сторожихи есть



дети и, вероятно, она согласится посмотреть за ребенком. Мне казалось невозможным отдать Наташу. Я сказала, что подумаю. Так прошло 3 дня. В городе становилось все беспокойнее, и мне все страшнее ходить за продуктами на базар с Наташей на руках.

На третий день, когда все служащие разошлись и я стала стелить постель Наташе на диване, раздался стук в дверь и в комнату вошел человек с еврейским тонким лицом. Он смущенно остановился. Я попросила его войти и сесть. «Я здешний губернский агроном, моя фамилия Лейзеровский, кончил Тимирязевку и хорошо знаю Ивана Вячеславовича, — он смущенно замолчал. — Я зашел спросить, как Вы решили. Вы остаетесь здесь служить?» Я ответила, что нет, что я не могу расстаться с Наташей и не знаю, как быть. «Вы что-нибудь придумали для меня?» — спросила я с надеждой. Он отвечал, что у него есть предложение, но он не знает, соглашусь ли я. У него есть знакомые, очень богатые, Николенко, и они ищут себе кухарку, поступив к ним, я не расстанусь с Наташей. «Кухарку? Но я совсем не умею готовить!» Лейзеровский возразил, что хозяева сами хорошо готовят, но сейчас бояться ходить на базар, что мне нужно только помогать готовить, ходить все покупать и мыть кухню. «Кроме того, — прибавил он с улыбкой, — они боятся красных и хотят Вам отдать лишнюю большую комнату». Я с радостью согласилась. Было решено, что на другое утро он меня отведет. Утром я перешла жить к Николенко.

Семья Николенко состояла из отца, умного, трудолюбивого, пришедшего с Запорожья разутым мальчишкой и нажившего здесь состояние, построив постепенно 4 мукомольные мельницы. Потом были два его сына: один — белый офицер, ушедший с белой армией, и другой, по-моему, и вовсе не умеющий ничего делать, кроме как тратить отцовские деньги. Впрочем, и офицер не многим от него отличался. Сын, не бывший офицером, имел жену и двух сыновей 10 и 11 лет. Его-то жена и была моей хозяйкой. С женой офицера я не имела дела. Кроме сыновей была дочь, но она держалась замкнуто.

Мне дали очень большую угловую комнату в 4 окна. 2 окна выходили в палисадник на улицу и 2 — на двор. Комната была хорошо обставлена, с огромной кроватью, двумя дивана-

ми и зеркальными шкафами, запертыми. Кухня у Николенко была построена отдельно в саду и соединялась с домом темным коридором. Мне было здесь очень удобно жить. Наташа целый день была в саду, и я из кухни могла и видеть, и говорить с ней. Хозяйка (Александра Ивановна) готовила прекрасно, мы с Наташей ели на кухне, и на свои деньги я покупала Наташе только молоко. Старик Николенко мне очень нравился. Умный старик, видимо, презирал всю свою семью, которая ничего не делала, ничего не читала, любила только деньги и страстно ненавидела красных. Александра Ивановна проводила в кухне много времени, но говорила только о платьях, об аборте и своих знакомых, о Париже, о котором ничего меня интересующего не могла рассказать, и о том, что они надеются скоро уехать. Моя обязанность состояла в колке дров, в ношении с базара огромных корзин и в мытье посуды, кастрюль и кухни. Иногда, идя с базара, я встречала людей из института табака, они помогали мне нести корзину. Чаше других я встречала Лейзеровского.

Я никогда не видела таких роскошных базаров, какие в это время были в Краснодаре. Чего только на них не было. Больше всего меня поражал хлеб. Огромный, круглый, белый и пухлый. Этот хлеб не черствел. Он всегда был мягкий и пушистый. Никогда после я такого хлеба не ела ни в Воронеже, ни в Москве. В последующие голодные годы я частенько видела его во сне. Семья у Николенко была большая, и я покупала много. Очень они любили хорошо поесть. Иногда, особенно если на обед была индюшка, я на базар уходила очень рано, чтобы успеть сходить второй раз. Иногда к моим хозяевам приходили гости. Тогда моя хозяйка была на высоте, уставала страшно, на помощь призывались невестка и золовка. Как они все ели! На базар я ходить любила: любила народ, любила пестрые краски базара. Меня только всегда пугали высокие, широкоплечие, дородные казачки, не произносившие ни одного слова без ругательств. Они ругались злобно, сердито, весело, шутя, даже с лаской. Если прочесть Толстого «Казачки», то там он приводит разговор тетки Ульяны. Вот такой разговор я слушала на базаре. Как-то около базара я встретила девушку, грустно сидевшую на скамейке. Я спросила, что с ней. Она сказала, что она студентка, что у них общежитие закрыли, и ей негде ноче-



вать. Я её привела к себе, и она у меня прожила 3 месяца. Я ее кормила, и она ночевала у меня. После она куда-то уехала. Надо сказать, мои хозяева мне о моей поселенке ничего не сказали. У Николенко я так прожила осень и зиму. Одинока я была ужасно. Меня спасала Наташа да еще работа. За целый день я так уставала, что с трудом могла вечером постирать себе и Наташе.

Поздней осенью подошли красные, и начался обстрел города. Потом началась стрельба и в самом городе, стреляли на улицах, из домов. Мы, жители города, никуда не выходили, все ставни были закрыты, но пулеметы и особенно пушечные выстрелы нельзя было ничем заглушить. От разрывов у дома дрожали стены. У моих хозяев были запасы, и мы не голодали. Только для Наташи я не могла доставать молоко и, кажется, страдала от этого больше, чем она. Она давно привыкла есть все, что дают. Наконец, город был занят красными, но еще стреляли, и я не решалась выходить. В один из этих дней раздался звонок, я открыла. Передо мной стояла женщина, закутанная в черный платок, с корзинкой в руках. «Я Катя Москаленко», — сказала она. Я поспешила ввести ее в свою комнату и протянула ей обе руки. Катя Москаленко была другом моего брата. Мой брат, которого революция застала офицером, ушел с белой армией на юг. Потом, видя ужасы белой армии, убежал от них и поступил агрономом на Краснодарскую животноводческую опытную станцию, где муж Кати Москаленко заведовал. Здесь Катя и Юра подружились. Не знаю, как относилась к брату Катя, но брат был сильно ею увлечен и мне писал с юга восторженные письма. Я никогда ее не видела, но заочно любила по письмам брата. «Я узнала от Лейзеровского, что Вы с Наташей в Краснодаре. Я подумала, что верно Вы голодаете в эти трудные дни. Вот я принесла кое-что и молоко для Наташи», — говорила она, снимая платок и торопливо развязывая корзинку. «Но как Вы могли дойти до меня с Опытной станции? Всюду стреляют, и Вас могли убить!» — «Ничего, я не боюсь». Освобожденное от платка лицо молодой женщины, круглое и хорошенькое, улыбалось смущенной, но очень нежной улыбкой. Она вынимала из корзинки молоко, сливочное масло, сало и хлеб. Я крепко ее поцеловала. С этой минуты мы стали друзьями, и, пока я жила

в Краснодаре, она мне много-много помогала и, отказывая себе, в голодное время всегда приносила для Наташи молоко. Наташа тоже привязалась к Кате, и та ее сильно полюбила, да и кто мог не полюбить Наташу? Вся моя жизнь была в ней да еще в вере, нет, в уверенности, что я её доведу до Вани. Я была уверена, что Ваня жив.

Все эти дни мои хозяева сильно волновались, почти не выходили из задних комнат, и я носила им есть из кухни, где готовила уже сама и, думаю, очень плохо. На базаре совсем исчезли огромные белые хлеба, птица, яйца и овощи, молоко еще было, и моя корзина была полна, хотя и не такая тяжелая, как раньше. Через несколько дней ко мне в комнату вошла Александра Ивановна со множеством коробок и футляров. «Я хочу Вас попросить, — прошептала она, показывая на футляры. — Здесь все наши драгоценности. Я прошу Вас, можно ли их зашить в тюфяк Вашей кровати?» Я согласилась и вышла с Наташей в сад. Где и что они зашивали, я, конечно, не интересовалась.

Скоро наш дом был занят ЧК. Когда на звонок я открыла, вошло несколько человек красноармейцев, и один из них, видимо, начальник, сказал, что они ищут себе помещение. Я им сказала, что я кухарка и сейчас позову хозяйку. Наш дом им подошел, они заняли 4 больших комнаты, выходящих на улицу, и одну еще, смежную со мной. Им также понравился мощный чистый большой двор, в конце которого стояли конюшни и сараи. Лошадей и коров там давно не было. Задних комнат, где сейчас жили хозяева, они не трогали. «А здесь что?» — спросил чекист, указывая на мою комнату. «Здесь живет наша кухарка». Чекист посмотрел на меня — тоненькую, худую, в черном платье с большой толстой косой, спускавшейся гораздо ниже пояса, — толкнул дверь и вошел. В комнате была одна Наташа в белом вышитом платье, сшитом мной из моего белья, с белым бантом в волосах — она укладывала заграничную куклу, подаренную ей Верочкой Риттер. Чекист ничего не сказал. Я думаю, он догадался, кто мы с Наташей, но нас они не тронули, и я осталась жить в передних комнатах среди чекистов. В тот же день они переехали к нам. Наш двор наполнился красноармейцами, пушками, пулеметами, тачанками, лошадьми и верблюдами. Наташа с большим интересом



наблюдала за этим переселением. На другой день Наташа, белокурая, в белом платье, с белым большим бантом в волосах, вышла во двор на крыльцо. Красноармейцы сидели и лежали во дворе. «Здравствуйте, господа офицеры», – крикнула она громко. Бог её знает, кто ее этому выучил, думаю, что хозяйские мальчишки, с которыми она играла в саду. Солдаты громко расхохотались. «Подойди сюда, – сказал один строго. – Ты как назвала?» Наташа сошла с крыльца и, несколько не уstraшенная его нахмуренными бровями, влезла к нему на колени. «А ко мне пойдешь?» – с сомнением в голосе спросил уже пожилой солдат, протягивая ей руки. «Не ходи к нему, он сердитый!» – смеясь, закричали солдаты, но Наташа, улыбаясь, видя, что они шутят, охотно протянула ручки к пожилому солдату. Красноармеец быстро взял ее, прижал к себе и пошел с Наташей на руках, показывать ей верблюдов. «Чья это девочка?» – спросили они меня. «Моя», – отвечала я с гордостью. «А Вы кто будете?» – «Я тут у хозяев живу в кухарках». – «Кухарка?» – переспросил солдат, первый позвавший Наташу. «Что-то...» Он посмотрел на меня пристально и ничего не сказал. Я быстро подружилась с красноармейцами. Они звали меня хозяйкой или хозяйшкой, болтали со мной, кололи мне дрова, топили печку и охотно носили корзинку на базар. Каждое утро они меня спрашивали: «Хозяйшечка, можно мы возьмем с собой Наташу на Кубань купать лошадей?» Я охотно позволяла, но строго запрещала дарить ей деньги, так как они грязные, и давать ей подсолнухи, которые она еще не умела грызть и ела их с шелухой. Солдаты охотно возились с Наташей, хохотали над ее словами. У Наташи была любимая обезьянка, тоже подарок Верочки Риттер. Наташа всегда ее таскала на руках. Солдаты спрашивали: «Наташа, почему ты всегда целуешь обезьянку?» – «Она очень хорошая, она, как две капли воды, похожа на папочку». Она им говорила маленькие стихи, которых она много знала, и, картавя, не выговаривая «р», очень смешно декламировала.

К начальнику ЧК у меня было очень странное отношение. Он жил в комнате, дверь которой, как и моя, выходила в переднюю. Когда я ему на звонок открывала дверь, он всегда очень вежливо благодарил, здоровался и редко-редко говорил еще несколько слов. В его комнате, которая у Николенко была кабинетом и была

обставлена столом и кабинетной мебелью, постоянно происходили заседания. Сначала его замкнутый, суровый вид мне импонировал, потом мое отношение к нему стало более сложным. Своих хозяев я почти перестала видеть. Иногда старик Николенко заходил ко мне, и мы с ним беседовали. Я перестала ходить за покупками хозяевам на базар, и готовили теперь они сами себе. Все комнаты, занимаемые ЧК, хозяйки убирала: мыли полы, вынесли из комнат все вещи, которые чекисты просили убрать. Меня чекисты не трогали, никогда ни о чем не просили и, приходя к начальнику, никогда со мной не заговаривали. Я ходила на базар для себя и Наташи. Покупала я мало, у меня мало было денег, так как Николенко перестали мне платить. Кое-что приносила Катя, и у красноармейцев всегда был хлеб и приварок, которыми они угощали меня и Наташу.

Скоро к чувству уважения и даже признания, которые я почувствовала к чекистам, у меня присоединились ужас, непонимание и даже возмущение. Казачки и другие люди, которых я встречала на базаре, соседи, редкие знакомые рассказывали мне о расправах красных, главным образом, чекистов, с белыми, с восставшими станицами и с «зелеными». «Зелеными» у нас называлось почти все молодое казачество, ушедшее в горы и не подчинявшееся ни красным, ни белым. О них я расскажу позднее, когда я с ними непосредственно встретилась. Рассказывали про чекистов страшные вещи. Правда, рассказывали то же и о белых, особенно молодые казачки, жены «зеленых». Но с белыми я непосредственно не имела никакого дела, и к ним не лежала моя душа. Потом молодых казачек я избегала, они так были похожи на наших крестьян, из которых в большинстве и была составлена Красная армия. Но почему чекисты так жестоко, так ужасно поступали? С ужасом, с ненавистью произносилось имя Троцкого. Наконец, я решилась узнать правду. Раз, отворяя наружную дверь, я обратилась к начальнику и спросила, правду ли рассказывают, правда ли, что они расстреливают пленных? Он ответил: «Да, правда». – «Но ведь это ужасно! Как можно быть так невероятно жестоким? Я не понимаю...» Чекист посмотрел на меня, но не рассердился. «Когда-нибудь Вы это поймете», – сказал он, раздеваясь, повесил шинель и ушел, затворив за собой дверь. Я сто-



яла пришибленная. Ему я не могла не верить. Он так сказал, как будто он прав. Нет, он не прав. В убийстве не может быть правды, и этого я никогда, никогда не пойму. Мне хотелось догнать его, объяснить всю эту бессмысленную жестокость. Но я не смела к нему войти. Он так уверенно это сказал, так сурово закрыл дверь. Но со мной, с Наташей он ласков, а Наташе всегда улыбается. Мне было тяжело его встречать. С красноармейцами мне было легко. Я себя уверяла, что они не виноваты, что это большевики заставляют их быть жестокими, а они только подчиняются дисциплине. В этом меня убеждало то, что они при мне никогда не ругались, никогда со мной не говорили грубо. Наташа, которой было уже почти 3 года, была все время с солдатами. Она смешно повторяла солдатские слова и выражения, но никогда не ругалась. Видимо, при ней они сами воздерживались от ругательств и были с ней постоянно ласковы. Я думала, что, оторванные от семей, они перенесли на Наташу свои хорошие чувства. Так проходила зима. Я мало знала, что происходило в городе. Никто обывателей не трогал, не выселял из домов, кроме нескольких реквизируемых квартир. На базаре опять появились приезжавшие на возах казачки. К ним иногда подъезжали верхом молодые казаки, видимо, «зеленые», брали бараньи туши и корзины с едой, шутили и ругались с казачками. Из города выезжали обыватели, но их не задерживали. Чекисты куда-то уезжали отрядами, но не все. Теперь я увидела и пленных, некоторые были так страшно молоды. Их допрашивали, уводили, иногда за сараями били, слышны выстрелы, я брала Наташу на руки, прижимала к себе и плакала.

«Мамочка, – сказала Наташа, стоя около окна во двор. – Зачем они бьют быка?» Я посмотрела в окно. Бык, предназначенный на мясо солдатам, был пущен бегать по широкому двору. Солдаты, смеясь, били его по лбу топорищем. Бык мотал головой, иногда падал на колени и опять вскакивал, из носа его сочилась кровь. Я схватила Наташу на руки, посадила на постель и, велев ей сидеть смирно, бросилась в кабинет к начальнику, где в это время проходило какое-то совещание. Я распахнула дверь и вбежала. «Что Вам надо? Сюда нельзя», – крикнул мне начальник. Я взволнованно рассказала, что делают с быком, и просила его поскорее застре-

лить. Командир спокойно возразил, что стрелять солдатам по пустякам запрещено и чтобы я ушла, так как здесь нельзя быть. «Это не пустяки, это жестокость!» – закричала я. Начальник пожал плечами. Я страшно рассердилась. «Вот, – выкрикнула я упрямо, усаживаясь на стул. – Я не уйду отсюда, пока Вы не скажете, чтобы быка застрелили. Ни за что не уйду». У меня из глаз капали слезы, но я ухватила за стул обеими руками. Командир посмотрел на меня, встал и крикнул в дверь солдату: «Скажи там, чтобы быка отвели за сарай и застрелили». Я быстро вскочила, сквозь слезы сказала: «Спасибо», – и убежала к себе в комнату.

В том году Пасха была ранняя. В Светлое Воскресенье ко мне вышел старик Николенко, принес мне кулич и крашеных яиц и сказал, что они уезжают, что вся семья пусть едет, куда хочет, а он поедет в станицу к мельницам. Как я много позже узнала, его назначили заведовать его прежними мельницами, и он добросовестно и самоотверженно служил большевикам до самой смерти... Мне надо было тоже устраиваться. Денег уже почти не было, да я все больше хотела уйти из дома чекистов, хотя в последнее время отряды чекистов выезжали чаще и чаще и среди приезжавших солдат были раненые. Они неохотно шли в госпиталь, и я их перевязывала дома. Где и как мне было устроиться?

Я опять обратилась к Лейзеровскому, с которым я не часто, но встречалась. Он сказал, что сейчас, как раз весною, он может меня устроить на семенную опытную станцию готовить обед рабочим. Опытная станция находилась на реке Кубани, в верстах 25-30 от Краснодара. Большая часть земли и скотный двор были в двух верстах от усадьбы опытной станции, где жили рабочие и где я получила маленькую комнату. Рядом с домиком, где я жила, находилась «дворовая» кухня, т.е. навес с плитой, куда были вмазаны два больших котла. В одном котле я должна была варить борщ, а в другом – пшенную кашу. Для борща мы имели худых, не дающих молока калмыцких коров, а в кашу я поджаривала сало с луком. Надо было очистить и нарезать большое количество свеклы, капусты и лука: рабочих было много. Самое трудное было половником мешать кашу, чтобы она не пригорела. Кроме варки обеда мне и еще двум женщинам, работавшим на опытной станции,



подавали рано утром и вечером арбу, запряженную верблюдом, и мы ездили на скотный двор доить калмыцких коров.

Коров на мою долю приходилось шесть голов. Это было не так трудно, я доила хорошо, если бы не нрав калмыцких коров. Они были дикие и злы, главное, не привыкли доиться, привыкли сами выпаживать своих телят. Каждой корове пастух спутывал ноги передние и задние, подвязывал хвост и привязывал ей голову так высоко, что, если бы она легла или согнула только ноги, то повисла бы на них. Потом я подпускала к корове теленка, и только она «отпускала» молоко, которое прежде задерживала, я отталкивала теленка и доила. Как только корова сознавала, что теленка нет, а я дою, она рычала, буквально рычала, рвалась и старалась на меня лечь. Видя, что это не удастся, корова «принимала» молоко, и тогда нужно было опять подпускать теленка. Так до трех раз. От такой дойки мы совсем измучивались. Мы вскакивали по несколько раз, хватили ведро, каждую минуту могли быть задавлены, когда корова пыталась лечь. Кроме того, теленка все время должен был держать пастух или его помощник, иначе он бежал к матери, опрокидывая и меня, и ведро.

Скоро у меня нашлась еще одна обязанность. У нас было 8 маток и один жеребец верблюдов. Когда я готовила борщ, то все очистки я относил в загон к верблюдам, они скоро привыкли ко мне и шли на зов. Верблюды очень гордые и обидчивые животные и не выносят, когда с ними грубы или бьют их. Тогда они бьют передней или задней ногой или плюются. Это жвачное животное, и они отхаркивают жвачку и плюют её. Поэтому рабочие неохотно ходили в загон и обрабатывали их (т.е. надевали недоуздки), чтобы запрягать. Я входила к ним совершенно свободно, и они меня слушались. Помню, один рабочий вошел в загон и никак не мог поймать верблюда, тогда он хлопнул верблюда недоуздкой по ноге. Верблюд обернулся и лягнул рабочего так сильно, что тот перелетел через жерди загона. Больно верблюд не ударял, так как вместо копыт у него были мягкие подушки, но от сильного удара, падая на землю, можно было ушибиться. Мне было трудно обрабатывать только верблюда-жеребца. Он был велик, и чтобы его обработать, мне приходилось подпрыгивать и ловить его за холку. Иногда он, когда я его брала за холку, поднимал голову, и я вис-

ла на нем. Верблюдов-кобыл запрягали в пару в косилку, в арбы, а жеребца запрягали или когда нас приходилось возить на скотный двор, или в город. Породистый жеребец-верблюд вообще было большое и сильное животное, он весь оброс шерстью, особенно шея, грива висела почти до земли. Часто, когда не очень хорошо накидывали на ворота цепь, жеребец, приподняв жердь, выходил и гулял по двору.

Как-то к нам напиться заехали верховые «зеленые». Командир только что поднес кружку ко рту, как показался жеребец-верблюд, огромный, лохматый и страшный, он гордо поднял голову и шел прямо на отряд. Этого лошади не могли вынести. В один миг весь отряд рассыпался, и лошади понесли. Обедавшие рабочие громко рассмеялись, они шутили, что так не скажут даже в атаку. Командир отряда бросил кружку уже далеко в поле. Один раз жеребец гулял по двору, когда Наташа, держа в руке пучок травы, побежала ему навстречу. Я очень испугалась. Жеребец осторожно занес над Наташей переднюю ногу, другую, потом задние и пошел спокойно дальше, оставив удивленную Наташу с клочком травы в протянутой руке.

Но самое неприятное для меня приключение было, когда жеребец вышел из загона, а я только что сварила борщ. Рабочих еще не было, я сварила борщ пораньше и занималась варкой каши. Верблюд подошел к котлу, откинул мордой крышку и стал пить борщ. «Геть! Геть!» — закричала я изо всех сил, колотя верблюда по морде половником. Потом я схватила жеребца за гриву и тянула в сторону, но ни то, ни другое не произвело на животное впечатления. Он отошел только тогда, когда выпил весь борщ и съел все овощи. Потом он послушно ушел. Я чуть не плакала с досады, ведь сейчас должны были прийти обедать с поля рабочие. За это лето мне приходилось испытывать, часто по моей неумелости, много всяких «несчастий».

Меня тяготило одиночество. Катю я видела очень редко. Когда надо было за чем-либо посылать в город, я отпрашивалась и ездила верхом, предварительно написав Кате, и мы с ней встречались. В редкие минуты свободы от дел я брала Наташу, и мы уходили с ней на Кубань, на могилу Корнилова. Не знаю, правда ли это была его могила, но она представляла большой крест и камень. С этого камня открывался прекрасный вид на другую сторону реки



и снеговые горы вдалеке. Я обнимала Наташу и говорила ей обо всех моих горестях и о том, как мне тяжело без Вани. Хотя она мало понимала мои слова, но мое чувство понимала и крепко меня обнимала. Что делалось в Краснодаре, мы узнавали мало. Мы узнали, что красные захватили черные земли к Волге, потому что мимо станции проходили таборы калмыков, бежавших от красных. Семьи калмыков ехали на верблюдах и в крытых повозках, запряженных верблюдами или волами. Шли стада калмыцких диких коров и отары овец. Куда они шли и дошли ли куда-либо – мы не знали.

Осенью начались дожди и речные туманы. Наташа стала прихварывать, ее лихорадило, поднималась температура. Я написала Кате, прося её поехать в город и повезти Наташу к хорошему врачу, знакомому Кати. Врач сказал, что у Наташи начало тропической малярии, что это от реки, и посоветовал сейчас же уехать подальше от реки и тем прервать малярию. Я возразила, что мне некуда ехать и сейчас это невозможно. Тогда врач, подумав, сказал, что с другой стороны города Краснодара на довольно большой высоте находится станица, в двух верстах от города. Туда многие уезжают на лето, там очень здоровая степная местность, и он мне советует переехать туда. Выйдя от врача, мы отвели Наташу к знакомым нам служащим института табакводства и пошли с Катей в станицу. Я говорила о том, где я найду работу и как мы будем жить, но Катя меня утешала тем, что все равно переезжать надо, а там как-нибудь проживем. Мы пришли в станицу искать комнату. Станица была богатая, каменные дома в 4-5 комнат, крытые железом, около домов палисадники, за домом сад, двор со служебными постройками, на дворе очень много птицы. Вероятно, здесь все сдавали на лето комнаты жителям Краснодара, живущим в нижней части города и переезжавшим сюда на дачу. Сдающихся комнат было много, но, когда мы робко спрашивали комнатку подешевле, они на нас смотрели с презрением и захлопывали перед нами двери. Наконец, мы подошли к дому около пустыря у большой дороги, ведущей в Краснодар. Это был крайний дом, довольно большой, с прилепившейся к нему маленькой лавочкой, теперь закрытой ставнями. Мы позвонили. Нам открыла пожилая крупная казачка. Лицо её нам показалось очень грубым. На наш робкий вопрос она подумала и сказала:

«Что-ж, я могу вам сдать вот эту лавочку и недорого, все равно она теперь не нужна». – «Так ведь в ней нет печки!» – вскрикнула Катя. «А вы будете открывать дверь в кухню, кухня у нас всегда топится». Она назвала цену, правда, недорого. На опытной станции я получала очень мало как рабочая, и денег у меня почти не было. «Только вы уплатите вперед за 3 месяца», – сказала казачка, с сомнением смотря на мое очень старое черное платье – мое единственное, вывезенное еще из Воронежа. Я и на это согласилась, хотя это составляло половину того, что я имела, и сказала, что я перееду послезавтра. Кровать и тюфяк мне дали знакомые по институту табакводства, стол у хозяйки нашелся, 2 табуретки тоже. Я попросила верблюда на опытной станции и переехала. Я попала как будто во враждебный лагерь. Грубая скупая хозяйка, ее дочь Галя, муж которой был, вероятно, «зеленый». Он приезжал и увозил с собой Галю иногда надолго, оставляя на бабушку дочку трех лет, тоже Галю. Была еще мать хозяйки, злая старуха, ворчавшая все время и не позволявшая мне открывать много дверь, когда кухня топилась. Я пробовала говорить об этом хозяйке, но она отвечала: «А что я поделаю со старухой, она у нас сроду полоумная». Первые два месяца, которые мы здесь прожили, я не могу вспомнить без ужаса. Я голодала. Я и так была очень худа, сказала, непосильная работа на опытной станции, а живя в станице, не имея никакого заработка и очень мало денег, я берегла то, что было, для Наташи. Катя не могла мне помочь, она сама ела очень плохо. Белые реквизировали с их животноводческой опытной станции почти весь скот... Муж Кати спас, спрятав в лесу, племенных животных, их почти нечем было кормить, но все же их сберегли. В городе не хватало продовольствия, только в городе казачество жило хорошо, но почему-то у него пока ничего не отбирали. Животноводческая станция была на очень строгом пайке, а у Кати было много иждивенцев. Её подруга, приехавшая к ней, заболела и умерла, оставив на Катю двоих детей, потом брат Катиного мужа и его жена были убиты в одной из станиц. Муж Кати, ездивший в эту станицу, привез с собой еще троих детей, и Катя отказывала себе во всем. Наташе она приносила каждые два дня бутылку молока и сало, но этого хватало только на Наташу. Что я ела эти два месяца, не помню. Иногда я помогала носить в город корзины с овощами и



за это получала овощи и кусочки хлеба. За эти два месяца я так ослабела, что ходила, держась за стену. И потом холод, ужасный, пронизывающий холод в комнате. Я ходила воровать сушь в лес, многие из города тоже воровали. Если я приносила дрова из леса, то старуха позволяла мне открывать дверь, и я не слыхала ее ворчливых замечаний, что на всех нищих она не натащасяется дров. Но здесь я немного похвалю себя. Я гордилась тем, что Наташа никогда не знала нужды. Все, что я зарабатывала у казачек, все, что приносила Катя, все было для Наташи – да и как же иначе. Моя жизнь была сосредоточена на ней. И она не только не знала нужды, она росла такая же доверчивая, веселая, ласковая, также не знала и не понимала зла.

Раз как-то мы пошли к казачке, жившей рядом, чтобы взять у нее корзинку с овощами, которую на следующий день я должна была нести на базар. Эта казачка продавала не только свои овощи. У нее было что-то вроде постоянного двора. Часто к ней приезжали из других станиц и на продажу оставляли свои запасы: сало, кур, яйца и т.д. Войдя в дом, мы услышали взволнованные голоса и увидели, что посреди хаты лежит женщина. Я спросила, что случилось. Казачка-хозяйка мне рассказала, что лежащая на полу женщина приехала из станицы погадать у гадалки, что с её сыном, который уже 4 месяца ушел в Красную армию, а от него нет известий. Гадалка нагадала на картах, что сын ее убит, и эта женщина теперь все плачет и не может подняться. Я рассердилась, и мне ее было страшно жалко. «Есть у Вас карты?» – спросила я. Карты были. Я подошла к женщине. «Что она Вам нагадала – это все неправда. Вот я Вам нагадаю – мне верьте. Я зарок дала больше никогда не гадать, а то ведь я гадалка, не вашей чета», – говорила я взволнованным голосом и властно. Я взяла карты и стала раскладывать. «Вот, видите, я сказала, что она врет. Где тут, что он умер? Видите, у него рядом десятка червей и девятка бубен – это означает, что жив». Я говорила так уверенно, что женщина подняла голову и слушала, а все бывшие в комнате меня обступили. «А Вы зачем верите? – продолжала я. – Смотрите, туз. Поезжайте домой и Вам, если не сейчас, то на днях будет письмо, непременно будет. «А как же здесь девятка и туз пик, ведь это слезы?» – спросила хозяйка. «Конечно, слезы», – ответила я. «И если вот она будет слушать еще каких-то

гадалок, то будут еще слезы, только не его, а её. Чего она плачет? Сын жив, здоров, а она плачет». Я Вам говорю, – обернулась я к женщине, которая уже не лежала, а села около меня. Я Вам говорю, я теперь не гадаю, но мне Бог простит, потому что сердце мое не вытерпело. Я из-за Вас обет свой нарушила, а Вы не верите. Я говорю, письмо уже послано, ждите». Моя безудержная натура сказалаась. Я думала, ее сломали все мои переживания.

Через неделю ко мне прибежала казачка, хозяйка постоянного двора, и сказала, чтобы я поскорее к ней шла. Я пошла. Как только я вошла, ко мне на шею бросилась та женщина. Она сказала, что я всю истину узнала, что письмо она получила, что сын ее жив и здоров и надеется скоро приехать. Я тоже обрадовалась. «Вот, – говорила женщина, суя мне в руки корзинку, – вот тут яички, я уж не только свои, а у соседней заняла, и сало, и масло, вот Вам, добрая моя, хорошая моя. Вы мне радость такую дали». Я начала отказываться. Правда, я взяла яйца, но все те, которые она заняла, отдала обратно, а ее 2 десятка взяла. Я очень была голодна, и Наташка так давно не имела яиц. «Что ты, что ты! Бери, я разве назад повезу? Мне грех будет». – «Я ведь не гадалка, я только раз погадала, я обет дала», – говорила я, но она была так огорчена, что я все у нее взяла, хотя в душе себя осуждала.

Я встала, чтобы идти домой, как меня остановил совсем незнакомый мне человек, сидевший тут же в комнате, одетый не так, как все казаки. «Послушайте, мадамочка или гражданочка, как теперь называют. Я приехал с ней из станицы. Удивительно Вы гадаете. Это у Вас дар, не зарывайте его в землю». Я слушала с удивлением, что он еще скажет. «Я имею предложение. Пойдемте к нам в станицу, станица богатая. Вы будете там гадать, а я к Вам приводить казачек. Они на это падки. Ручаюсь, что нанесут Вам, что хотите. По рукам? Половину – мне, а половину – Вам. Ручаюсь, будете как сыр в масле кататься...» Я сказала, что отказываюсь, так как он уже слышал, я дала обет не гадать. Мне не хотелось при этой женщине признаться, что я все врала и гадать не умею, я понимала, что она так верит мне, что не станет уже с такой надеждой ждать сына. «Ну хотите, одну треть – мне? С меня хватит?», – спросил он. Но я отказалась, опять сославшись на обет. Это очень подняло меня в глазах казачки-хозяйки. Как я радостно шла домой. Я была



рада и за женщину, и за свое вранье и, главное, поем, не обездолив Наташу.

Странные были эти казачки. С Наташей часто играли двое детей, они были так грязно и плохо одеты, хотя их мать жила хорошо. Раз она зовет меня и показывает мне очень хорошие шерстяные платья для ее мальчика и девочки. Я её хвалю за то, что дети так ужасно одеты, и очень рада, что она им купила новые платья. Она мне говорит: «Вы что же думаете, что я им дам их надеть? Нет, это пусть лежат. Вот если они помрут, я их одену». «Как помрут? Ведь они совсем здоровы?» «Так что же, все может быть, вдруг помрут, а мне хоронить будет не в чем». И она старательно сложила платья и заперла в сундук. Наши крестьянки были тоже бережливы. Новые платья носили всегда «на рост» и надевали только по праздникам, но до такого цинизма они не доходили да и не могли дойти по своему характеру...

Через два месяца появилась Вера Николаевна. Кто она была, как сюда попала, я не знала. Моя хозяйка и её дочь её знали. Она поселилась в лучшей комнате, знала много народу в городе и хорошо шила. Мне сказали, что она портниха. Из её последующих рассказов и разговоров мне казалось, что она беженка из Петербурга, происходит из богатой купеческой семьи и как-то была связана с белыми. Меня все это мало интересовало. Гораздо лучше, что она мне дала работу. Вера Николаевна мне предложила распарывать старые платья, которые она перешивала, и относить по заказчицам уже готовые платья. Заказчиц у нее было очень много, и она по целым дням уходила в город. За это она мне платила и, главное, платила едой. К Наташе она относилась прекрасно и часто ей из города приносила что-либо вкусное. Ходить было не так далеко, как страшно, особенно если запоздаешь.

В Краснодаре, у самого нашего пустыря, стоял кабак. Из него всегда неслись крики, ругательства, слышны были даже драки. У коновязи перед кабаком всегда было привязано много лошадей. По лошадям можно было узнать, кто находится в кабаке. Лошади красноармейцев были больше полукровки, худые, заморенные. Они стояли, грустно понутив голову. Лошади «зеленых» были очень хороши. В царское время недалеко от Краснодара были заводы английских скакунов. Они все перешли к «зеленым», и лошади «зеленых» были с этих

заводов. Каждую ночь, даже еще вечер, так как стояли дни поздней осени, у нас на пустыре кого-нибудь убивали или грабили. Каждую ночь раздавались крики о помощи и топот верховых лошадей. Мы ничем не могли помочь. Мы рано закрывали ставни и отгораживались от всего мира.

У меня в лавке горел по вечерам маленький пузырек с керосином со скрученным ватным фитильком. Но теперь по вечерам мы с Наташей уходили в комнату Веры Николаевны. Там горела настоящая большая лампа. Я порола, Вера Николаевна шила, а Наташа играла рядом. Большую часть заказов я носила утром, но иногда приходилось дожидаться заказчиц, которых почему-либо не было дола, тогда я возвращалась, когда уже начинало темнеть.

Однажды я запоздала в Краснодаре. Надо было заносить платья в несколько мест, находящихся далеко друг от друга. Стало уже темнеть, когда я подошла к пустырю. Я очень спешила, мне оставалось еще пройти два километра. Я была уже почти на середине пути, когда мимо меня проскакал всадник. Хотя я была испугана, обратила внимание на его прекрасного английского скакуна. Всадник проскакал, стук копыт лошади стал глуше, когда внезапно прекратился. Я шла дальше и увидела, что всадник стоит и дожидается меня. «Ты куда идешь?» «Домой». Всадник подождал, пока я поравняюсь с ним. «Я ведь тебя зарежу», — прошептал он, наклоняясь ко мне с седла и обдавая меня винным перегаром. «Что ты! — вскрикнула я. — За что?» Одной рукой он схватил меня за горло, в другой блеснул нож. Я рванулась так сильно, что он покачнулся в седле, и изо всех сил ударила лошадь по храпу. Я знала, что скакун этого не выдержит, и действительно лошадь рванулась и понесла. Пока он справился в седле и смог удержаться скакуна, я побежала. Странно, я думала не о том, что он меня убьет, а о том, что будет с Наташей? С боковой дороги показалась арба, запряженная парой. Я бросилась к арбе: «Возьмите меня на арбу, он хочет меня убить, остановитесь!» — «Что ты? Иди, иди, а то он нас обоих убьет». Человек хлестнул по лошадям, но я не отставала. Я бежала так, как даже не знала, что могла бегать. Я не отставала от арбы и продолжала умолять. Всадник к этому времени справился с лошадью и стоял в отдалении, выжидая. Видимо, мои мольбы тронули возни-



цу, он приостановил лошадей, и я вспрыгнула в арбу. Он сейчас же хлыстнул по лошадям и пустил их вскачь. Мы благополучно доехали. Я вошла в комнату к Вере Николаевне, у которой в это время все сидели, и сказала довольно спокойно: «А меня сейчас чуть не зарезали!» Хозяйка посмотрела на меня с сомнением, а Вера Николаевна сказала: «А ведь правда, посмотрите, как она побледнела». Как только она это сказала, я почувствовала головокружение и села на стул. С этих пор хождение в Краснодар было для меня пыткой, особенно вечером...

Приближалось Рождество, и я решила устроить Наташе ёлку. Из проволоки я сделала человечков, обмотала проволоку ватой и обшила белыми тряпочками, нарисовала лица и сшила одежду из остатков, данных мне Верой Николаевной. Я сшила Красную Шапочку, эскимоса, две куклы в русских костюмах. Из проволоки с картоном и ватой сделала стол, два кресла, диван, кровать. Потом сделала книжку, сама написав стихи и нарисовав картинки. Из скорлупок яиц, взятых у хозяйки, я наделала корзиночки, положив в них конфеты, подаренные Верой Николаевной. Разрезала две церковные свечи на четыре части каждую. Чтобы добыть елку, я должна признаться, украла ее в казенном лесу, когда ходила за дровами. Хозяйка, которая пекла большие пироги, пожертвовала мне немного теста, и я сделала крендельки на елку, а из старых тетрадей цепи. Наша елка была великолепна, по крайней мере, она казалась такой мне, Наташе и маленькой Гале. В первый день Рождества мы елку зажгли, а сами играли в новые куклы. Вера Николаевна пришла посмотреть и, видя, с каким мы увлечением играем, сказала: «Какой Вы еще ребенок, не старше Наташи». Я до сих пор вспоминаю с удовольствием, как вечерами сидела в своей лавочке и при копилке делала игрушки.

Мои походы с овощами на базар участились. Или казачки ко мне привыкли, но я почти каждое утро носила в Краснодар на базар корзинки. На базар ходили, конечно, и хозяйки овощей, тоже нагруженные. Я только носила, а продавали они. Но это еще увеличило мои доходы, и я уже не голодала после Нового года.

В конце декабря Вера Николаевна позвала меня к себе, закрыла дверь и спросила, можно ли мне довериться и обещаю ли я хранить в тайне все, что она мне скажет. Я обещала. Тог-

да она мне сказала, что в ЧК сидят много белых офицеров и черкесов, не признающих красных, многие из них приговариваются к расстрелу. Есть такая организация, которая помогает им бежать из тюрем и переправляет горными тропинками в Турцию. Это возможно, так как их охраняют плохо, многие из стражи состоят в этой организации и многих удастся подкупить. Этой организации нужно иметь жилище, куда можно приезжать, чтобы устраивать побег. Надо им жить день-два где-либо. Эту организацию возглавляет черкес князь Сагат Султан-Гирей. Последний из Султан-Гиреев. Черкесы ему очень преданы. Он учился в Петербурге, состоял в свите государя, отступал с белыми. Он должен был ехать в Англию, но, когда он сел на пароход, черкесы, которые большой толпой его провожали, пришли в отчаяние, просили его не уезжать и спрашивали, как он может их бросить. Тогда князь Сагат сошел с парохода, бросил в море свою золотую шпагу, принадлежавшую еще его деду, и сказал, что, пока сможет им помогать, он останется с ними, только не хочет, чтобы его шпага, если его поймут, кому-либо досталась. Султан-Гирею нужно надежное убежище, и Вера Николаевна предлагает ему останавливаться у меня. Меня никто ни в чем не подозревает. Да можно будет сказать, что я возлюбленная Султан-Гирея, и все найдут это понятным. Но все же мне надо подумать. Султан-Гирей известен, его ловят, он давно приговорен, и мне, если его поймут, грозит опасность. Я обещала подумать и ответить ей завтра.

Думать мне надо было только о Наташе, но я знала, что Катя её не оставит, пока её не найдет Ваня. А о себе? Что мне было думать? Я не хотела зла ни красным, ни белым. Но какое же зло – спасать от смерти. Для красных это даже будет хорошо: не будет на их совести лишних смертей. Эти люди, которых спасут, уйдут в Турцию и оттуда вредить не смогут. Я бы на месте красных всячески содействовала их бегству... Среди белых офицеров есть совсем мальчишки, лет 19-20, даже меньше, и они уйдут, и всем будет хорошо. А если я могу помочь кому-либо избавиться от расстрела, то моя обязанность на это идти. И Ваня на это не мог бы возразить. Я согласилась.

Через несколько дней ко мне пришел Сагат Султан-Гирей. Сагату было 25 лет. Он был



строен, тонок, очень красив, беззаботно весел и смел, даже безрассуден. Ко мне он приходил один, изредка с преданным ему черкесом Мамми, который его выходил и смотрел на Сагата с обожанием. Его телохранители, черкесы, помогавшие ему переправлять пленных, находились где-то поблизости в лесах. Освобожденные из плена бежали в указанное им место. Я их никогда не видела. Скоро Сагат, Наташа и я стали друзьями. Хотя я и считалась его возлюбленной, хотя он часто ночевал у меня в комнате, но наше дружественное и нежное отношение друг к другу не имело оттенка какой-либо влюбленности. Он стал называть меня, я забыла, как это звучало по-черкесски, старшая сестра или просто «старшая». И действительно, относился ко мне очень почтительно, почти восхищенно. Для меня он стал младшим братом. Черкесам он сказал, что я ему то, что у нас называется «крестовая сестра», а Мамми и черкесы называли меня по-черкесски, в переводе Сагата, «госпожа». Он был магометанин и строго соблюдал все магометанские обряды. У меня были другой нож, другая кастрюля, в которой я никогда не варила свинину и не резала сала. Я думала, это Сагат делал для своих черкесов. Вера Николаевна мне как-то сказала, что в Краснодаре живет настоящая возлюбленная Сагата, он часто к ней ходит, подвергая себя опасности быть узнанным. Для меня это было безразлично, я только его просила, когда он уходил, быть осторожным, не быть таким беспечным. Сам Сагат никогда о своих отношениях с женщинами со мной не говорил. Прощаясь, он всегда целовал мне руку и крепко обнимал Наташу.

Наташу он очень любил. Иногда они вдвоем подымали страшный шум, кувыркались на постели, залезали под кровать, подушки летели на пол. Он любил ложиться на пол, поднимал ноги вверх, а Наташа должна была влезть к нему на ноги и так стоять, держась за его руки. Когда он к нам приходил, Наташа бросалась к нему, крича: «Дядя Сагат! Дядя Сагат!» В глазах бабки и моей хозяйки я окончательно упала, но они, видно, стали опасаться меня и не были так грубы. А казак, муж Галины, стал ко мне даже почтителен. Вера Николаевна находила, что для безопасности мне надо было считаться его возлюбленной, тем более, что я относилась к этому безразлично. Но Сагата это тяготило, и он всячески старался высказать мне свое ува-

жение. Обыкновенно Сагат приезжал вечером, когда стемнеет. Говорил, что он приехал, и исчезал. Приходил под утро и оставался у меня весь день, а вечером опять уходил или уезжал. Иногда проводил у меня так два дня, но днем он никогда не выходил.

Как-то месяца через полтора приезжает Сагат. Наташа бросилась к нему, но Сагат, хотя поднял ее и поцеловал, но сейчас же поставил на пол и отошел. Наташа смотрела на него с удивлением. «В чем дело, Сагат, что с Вами?» – спросила я. Сагат молчал. «Что же Вы молчите?» – «Я заразился. – смущенно отвечал он. – Я был у врача, он говорит, что я заразился от лошадей чесоткой... Вот, – прибавил он, вытаскивая из кармана и показывая бутылку, – доктор велел мазать, втирать в тело эту гадость». Он посмотрел на Наташу с улыбкой и сунул бутылку ей в нос. «Воняет...» – сказал он, морщась. Наташа отскочила. Сагат засмеялся. «Перестаньте, – рассердилась я, – где же Вы в горах зимой будете лечиться? Кто Вас там растирать будет?» – «В саклях не холодно, а Мамми отлично справится». – «Глупости, раздевайтесь сейчас же. Я Вас посмотрю и разотру». – «Вы? – он взял мою руку и поцеловал. – Милая моя старшая, во-первых, это заразно, а, во-вторых, ведь я же Вам сказал, что она пахнет ужасно, невыносимо. Ваша комната пропахнет этой мазью. Посмотрите, Наташа уже сейчас сморщилась». – «Ну и пусть пахнет. Я Вам говорю, раздевайтесь сейчас же». Сагат начал медленно раздеваться. Я застелила кровать простыней. Сагат снял рубашку. Я охнула. Все тело было покрыто струпьями. «И как Вам не совестно. Невозможный Вы мальчик, глупый. Вы давно уже больны. Вы себя бы знаете, до чего довели!» Сагат сидел, смущенно опустив голову. «Да снимите же Вашу одежду!» – крикнула я с досадой. Сагат послушно снял. Я налила на руки жидкости и стала растирать. Сагат улыбался смущенно, я нежно. Наташа внимательно следила за моими руками и также, как я, хмурила брови. Я усердно втерла мазь в его тело, завернула Сагата в простыню и сказала Наташе, что я пойду помоюсь и приготовлю поесть к чаю, а Наташа чтобы смотрела за Сагатом, чтобы он не разворачивался и не вскакивал, ему надо полежать. Я ушла в кухню и оттуда слышала возгласы Наташи: «Дядя Сагат, нельзя!» Когда я пришла, они затеяли игру. Сагат немного высовывал руку, а



Наташа не позволяла и сердито кричала: «Нельзя!» Тогда Сагат высовывал палец или ногу. Оба очень забавлялись. Вдруг тихий стук в окно. Пошла отворить. Мамми, широкоплечий, четырехугольный черкес с некрасивым, суровым лицом вошел в комнату. Я сказала, что я начала лечить Сагата, что ни сегодня в ночь, ни завтра я его не пущу. Сагат беспомощно улыбнулся и развел руками. «Хорошо, госпожа», – сказал Мамми и ушел. Несколько раз я еще лечила Сагата, потом он выздоровел. Когда я после купала Наташу, она, раздевшись, кричала: «Я совсем, как дядя Сагат».

Наша жизнь продолжалась. Настоящего, строгого порядка в городе не было. Приезжали и уезжали люди, и никто не спрашивал, куда и кто едет. В округе знали, что у нас бывают черкесы и опасались нас. В конце апреля Сагат был арестован и приговорен к смерти. Ко мне он приехал вечером и ушел, сказав, что не придет ни на ночь, ни на следующий день, а только вечером следующего дня. Как потом мы узнали, он зашел к знакомым, там переоделся в белую нарядную черкеску и в таком костюме поехал к своей возлюбленной, обрадованный своим полным выздоровлением. Около дома возлюбленной он был узан и арестован. Но все это мы узнали после.

Рано утром мне сильно постучали в окно. Я отворила и впустила Мамми. «Сагат здесь?» – «Нет». – «Они его арестовали. Они его взяли!?» – вскрикнул Мамми и, опустившись на пол, зарыдал так страшно, с таким отчаянием, что у меня задрожали губы, а Наташа, вскочив с постели, испуганно прижалась ко мне. Я скоро опомнилась. Подняла и посадила на постель Наташу и подошла к Мамми: «Мамми, перестаньте, может быть, еще ничего не случилось, расскажите, что Вы знаете?» Мамми сидел на полу, обхватив голову руками, и раскачивался. Опять стук в окно. Вошли человек 12 черкесов. Они молчали, опустив голову и изредка поглядывая на Мамми. «Мамми, опомнитесь! Надо искать. Если он правда арестован, надо узнать, где он сидит, что можно сделать. Ведь у Вас в тюрьме есть надежные люди». Я говорила со слезами в голосе, но очень решительно. Мамми поднялся. «Правда, госпожа? Я пойду, мы узнаем. Я вернусь сегодня ночью». Они ушли. «Мамочка, что с дядей Сагатом?» – спросила Наташа испуганно. «Я еще сама не

знаю, Наташа. Дядя Сагат потерялся, и Мамми не может его найти». Ночью вернулся Мамми, Сагат был арестован. Я получила от него записку: «Милый друг, не огорчайтесь. Это давно следовало ожидать. Прощайте. Сагат». Еще через ночь я передала Сагату книжку. Ему разрешили читать. Я передала не только Лермонтова или Пушкина, на обложке я написала: «Милому брату. Медленно движется время. Веруй, надейся и жди... Никитин. Сестра». Через несколько дней Мамми мне сказал, что они добились, что Сагата оставят в живых и переправят в штаб, где его будут судить, кажется, под Ростов. Но за это надо дать денег, очень много. «Ничего, мы соберем дома», – сказал Мамми. Черкесы, правда, собрали. Черкесы продали кабардинца (лошадь) Сагата, его оружие, своих овец, коров. Резали скот и продавали мясо, которое охотно покупалось в Краснодаре. Я принимала в этом участие и очень ловко продавала на базаре. Скоро деньги были собраны, и Сагата увезли. «Мы его отобьем в поезде, умрем, а отобьем», – сказал мне Мамми на прощание. Я его больше не видела и ничего не знала. Только через много лет, когда я с Ваней отдыхала в Крыму, в Гурзуфе, шла я по улице. Было много народу. И вдруг у себя за спиной услышала слова: «Госпожа, Сагат жив...»

Я продолжала жить в лавочке. Советская власть укреплялась. Стало больше порядка, но еды в городе было еще очень мало. «Зеленые» исчезли. Некоторые уехали, а большая часть или перешла к большевикам, или хозяйничала дома. Меня два раза вызывали в ЧК, спрашивали, где мой муж, не у белых ли он, я говорила «нет» – и меня оставили в покое.

Вера Николаевна уехала. Мы опять остались с Наташей без еды. Комнату Веры Николаевны отдали жене комиссара. Приехала к нам женщина средних лет с девочкой лет двенадцати. «Я жена комиссара, вот ордер. Мне Вы дадите комнату?» Моя хозяйка не стала возражать. Женщина оказалась хорошая, малограмотная и очень словоохотливая; девочка была ее сестра Леночка. С Леночкой мы с Наташей быстро сошлись, я рассказывала им сказки, они играли вместе. Славная она была девочка.

Как-то одна казачка предложила мне переехать к ней. У нее было много птицы, она уходила в Краснодар продавать яйца, а дома оставались две девочки 6 и 3 лет. Мне она предложила кор-



мать птицу, выпускать гусей к пруду, посматривать за ними и ухаживать за огородом. Хотя эта казачка была из наших соседок наиболее грубая и скупая, я согласилась и перешла к ней. У нее было очень трудно жить. Я работала, сколько могла. К сожалению, ее дочери были в мать и очень грубы с Наташей. Как-то, когда я работала на огороде, ко мне подошел старый казак. Он пожалел меня, сказал, что давно на меня смотрит и что мне трудно одной с девочкой. Наконец, он спросил меня, не выйду ли я замуж за его сына? Я удивилась и сказала, что я замужем. «Ну, мужа ведь нет, а девочку мы будем любить». Я поблагодарила и отказалась, хотя в душе была польщена. Ведь надо было много и хорошо работать, чтобы старый казак предложил меня взять за сына, да еще с ребенком. Так я прожила месяц.

Вдруг приходит красноармеец, спрашивает меня и говорит, что он за мной прислан, должен меня привести к командиру ЧК в Краснодар. Я пошла с ним, взяв с собой Наташу, так как оставить её одну на двух злых девочек не хотела. Конечно, я волновалась, но думала, что Наташу они от меня не возьмут. Красноармеец очень добродушный, нес всю дорогу Наташу на руках. Помещение, куда мы пришли, было, кажется, когда-то губернской управой. Красноармеец провел меня вверх по лестнице, указал на дверь — здесь начальник, — и ушел. Я вошла. Мне навстречу поднялся молодой человек с очень приятной улыбкой и большими карими глазами. «Вы — Якушкина? Так вот, давайте знакомиться. Я Фурманов, а вот это моя сестра Лиза Фурманова», — он протянул мне руку и указал на молодую девушку с такой же улыбкой и такими же глазами, как у него. Фурманов сказал, что Иван Вячеславович в Крыму, он давно меня разыскивает через Московский ЧК. Фурманову удалось обнаружить меня в Краснодаре, и он дал знать Ивану Вячеславовичу, что я здесь. «Профессор за Вами прислал Лизу. Послезавтра идет пароход по Кубани до Тамани, а морем Вас морской пароход доставит до Керчи. Можете этим пароходом ехать. Я дам пропуск и устрою Вас». Он прибавил, чтобы обо всем я переговорила с Лизой. Я не буду говорить, как я была счастлива. На третий день я, продав казачке постель, ехала с Лизой на кубанском пароходе. Фурманов нас снабдил едой. Кроме нас на пароходе ехало много народу, и большинство — в Крым. Пароход доста-

вил нас в дельту Кубани, и капитан сказал, что здесь мы должны дожидаться морского парохода. Нас высадили прямо на песок. Всех нас поразил ужасный запах. В Тамани мы узнали, что рыбаки наловили очень много рыбы для Красной армии, но ее не на чем отправить, а соли для того, чтобы она сохранилась, нет. И вся эта рыба, сваленная в кучу, гниет. Мы пытались узнать, почему нет пароходов и скоро ли какой-либо придет, но здесь ничего не знали. Мы все сидели на песке. В городе было некуда деться, на третий день ко мне подошел старый рыбак и дал мне только что пойманного судака. «Это девочке, — сказал он. — Только придется варить без соли, соли нет». Мы разложили костер из отбросов, щепок и сухих водорослей и варили судака в манерке, которая была у Лизы. «Здесь недалеко в море стоит моторная лодка, на ней комиссар приехал из Керчи. Вы его попросите, может, свезет. Девочка тут пропадет. Только Вы никому не говорите. Пойдемте, я Вас свезу. Лодка возьмет. Жалко девочку...» Я взяла на руки Наташу и поехала с ним. Мы подъехали к моторной лодке. Я спустила Наташу, подошла к комиссару и стала просить его взять меня, Лизу и Наташу. Он решительно отказал, сказал, что у него несколько человек матросов и ему некуда взять. В это время к нему подошла Наташа. «Здравствуйте. Это Ваша лодка?» — спросила она. Он посмотрел на нее, улыбаясь. «Моя, а что?» — «Большая, а у рыбака маленькая», — прибавила она тоненьким голосом. Комиссар засмеялся и взял ее на руки. «Это Ваша девочка?» Я кивнула. «А ты куда едешь?» — «К папе, я папу давно-давно не видела». — «А папу любишь?» — «Люблю, и мама любит». — «Где Вы живете?» — спросил комиссар. Я указала на песок. «Вот тут, на песке». — «Почему же вы не идете к рыбакам?» — «Не берут, нас очень много приехало, некоторые устроились. Они платят продуктами, а нам нечем». Комиссар подумал. «Хорошо, — сказал он. — Я Вас беру, только Вы другим не говорите. Поедешь со мной, — обратился он к Наташе, — на этой большой лодке?» — «Поеду». Я поблагодарила и, оставив Наташу на руках комиссара, поехала за Лизой.

Сначала мы ехали хорошо, хотя ветер делался все сильнее. Под вечер началась буря. Нашу лодку бросало в разные стороны. Мы сидели в каюте, наглухо запертой, и валились то в ту, то в другую сторону. Мы два дня так



качались на виду Керчи, пристать было невозможно. Наконец, буря начала утихать. Волны делались все меньше и, наконец, дали нам возможность подойти к молу. Нам бросили канат. Мы перетянули к себе привязанную за канат веревочную лестницу. Наш матрос сбежал по ней на мол. Комиссар позвал меня: «Бегите!» Я в ужасе посмотрела на лестницу. Она колыбалась. То вся напрягалась, то утихала вода. «Я не пойду, я боюсь». Комиссар раздраженно посмотрел на меня и сказался что-то матросу, указывая на Наташу. Матрос подхватил Наташу и побежал с ней по лестнице. Я, конечно, – за ним. Вслед за мной перебежала и Лиза.

Мы были в Керчи и пошли на вокзал. Вокзал был полон красноармейцами и матросами. Поезда на Симферополь ходили редко, сесть на них было невозможно. Мы с трудом пробрались к начальнику и показали ему пропуск Фурманова. С трудом нас усадили в поезд. Поезд нас довез до станции Джанкой, и машинист заявил, что дальше его паровоз идти не может, а вернется в Керчь, и что от Джанкоя до Симферополя идут другие поезда. Публика кричала, спорила, но все же все вышли из поезда. Мы стояли на перроне, т.е. мы стояли у самых рельс, а перрон был занят толпой и красноармейцами. Несколько дальше от рельс, прямо на перроне, лежали сыпнотифозные солдаты. Не только на перроне, но и далеко за ним лежали больные. Одни из них бредили, кричали, просили пить, другие были уже мертвы. Здоровые и полуждоровые красноармейцы, голодные и злые, толкая друг друга, толпились около рельс, стараясь протолкнуться поближе, лишь бы уехать из этого ужасного места. Когда изредка подходил поезд, то его брали штурмом, лезли в двери и окна, на крыши вагонов. Крики, ругательства и стоны стояли в воздухе. Постепенно через толпу больных мы пробрались далеко за перрон, в степь, куда уже тихо долетали крики, и сели на землю. Отдохнув и немного опомнившись, мы стали собирать колючки, перекасти-поле, клочки травы и соломы. Наташу я взяла на руки. Так прошла ночь. Начал накрапывать дождь. Я подумала, что, если Наташа промокнет, то мы её не спасем от воспаления легких, и решила во что бы то ни стало пробраться к начальнику станции. Поездов в это время никаких не было. Я с трудом, но пробралась к нему и показала письмо Фурманова. «Что же я могу сделать? Вы видите, меня

даже не послушают». – «Но я должна иметь хоть крышу над головой. Ведь я простужу ребенка!» «Крышу я тоже Вам дать не могу. Вон, – он указал на запасные пути, – там стоят пустые товарные вагоны. Только вряд ли они Вам подойдут. Мы из них недавно разгрузили сыпнотифозных. Если хотите, занимайте». – «Хорошо», – сказала я и решительно пошла к вагонам. Вагоны стояли с широко открытыми дверями. Они были полны гноя, испражнений и вшей. Лиза отказалась в них войти, говоря, что мы заболеем сыпняком. Но я возразила, что, если мы и заболеем, то не раньше, как через 2 недели, а я надеюсь приехать в Симферополь раньше. Но, отказавшись войти, Лиза усердно мне помогала снаружи. Мы выбрали самый чистый вагон, нашли на задворках лопату, ободранную метлу и дырявое ведро. Сначала я выгребала все лопатой, посыпала землей с песком и опять выгребала, так несколько раз, потом – метлой. Обмывали все водой, приносимой Лизой из колонки. Она набирала полное ведро, но приносила в дырявом ведре меньше половины. Отмыв самую грязь, мы набрали еще колючек, травы и папоротников и послали на пол. Мы работали до вечера. Вагон был довольно чист, но запах мы не могли выветрить, и дверь нельзя было закрыть. Надев на Наташу теплое пальтишко, я её уложила и легла.

Утро было великолепное. Солнце светило ярко, было так тепло, что мы с Наташей поспешили выйти из вагона. Я сказала Наташе, чтобы она не ходила на перрон и на рельсы, а лучше в степь собирать перекасти-поле, а сама с Лизой села около вагона чинить Наташину шубку. Далеко от вагона мы не отходили, боясь, чтобы кто-либо не захватил чистый вагон. Через некоторое время мы услышали радостный крик Наташи: «Мама, мама!» Наташа подбежала ко мне. Её руки были сжаты в кулачок, и она высыпала мне на колени кучу английских булавок: «Посмотри, что мне дяди подарили». – «Какие дяди?» – «Там сидят, они очень хорошие, они мне дали хлеба и сала, я съела, пойдем, я тебе покажу». Наташа потащила меня за юбку. Я пошла, чтобы посмотреть, кто это мог дать Наташе такой странный подарок. Я увидела недалеко от нашего вагона человек 25 матросов. «Наташа!» – закричали они. Наташа подбежала к ним, взяла за руку огромного матроса с красивым грубым обветренным лицом и закричала: «Идемте я Вас познакомлю с мамой... Пойдемте же». Матрос



встал и подошел ко мне. «Это Ваша девочка?» Я кивнула. «Хорошая девочка, смелая, никого не боится». – «Где Вы достали столько булавок?» – спросила я с любопытством. «Да тут... господ офицеров госпиталь был, белых. Ну мы их всех...» – он махнул рукой и, видя, что я смотрю на него с ужасом, прибавил жестоко: «Всех – и докторов, и сестер... Что боитесь?» Я молчала. «А вот она не боится», – указал он на Наташу. «Наташа, пойдешь со мной к матросам?» Наташа с радостью закивала. «Пойдем, там кулеш варят». – «А мама?» – «И маму накормим». – «Нет, спасибо», – сказала я сухо и пошла к вагону. Уходя, я слышала болтовню Наташи и хохот матросов. «Может быть, нехорошо, что я к ним пустила Наташу?» – думала я, с отвращением отбрасывая английские булавки. «Нет, пускай. Пускай в людях видит только хорошее, может быть, они сами лучше сделаются». В полдень большой матрос подошел к нашему вагону с Наташей в одной руке и с манеркой с кулешом в другой. Он предложил кулеш мне и Лизе. Лиза съела свою порцию, и я была так голодна и тоже съела. Матрос спросил, куда и зачем мы едем, как думаем доехать. Я ему все рассказала откровенно и прибавила, что будем здесь жить и ждать, пока сможем сесть в поезд. «Ничего Вы здесь не дожидаетесь, лучше уж пешком идите и то далеко не уйдете. Вот что я Вам скажу. Ребенка оставлять так нельзя. Мы ее не оставим. Мы едем в Севастополь и вас захватим с собой до Симферополя». – «А вы как сядете на поезд?» – «Это уж наша забота...»

Как только поезд подошел, матросы пошли к нему. Один из них нес Наташу на руках, мы с корзинками шли за ним. Большой матрос, подойдя к одному из вагонов, вынул наган и, выстрелив в воздух, закричал: «Ну, живо! Все из вагона выселяйся! Буду стрелять!» И опять несколько раз выстрелил в воздух. В окна сунулись руки с револьверами. С криком и плачем, но вагон скоро был очищен. Матросы быстро влезли в него, мы – за ними. Больше никто не смел сесть в вагон. Матросы широко расположились на лавках. Мы с Лизой скромно сели в конце в углу вагона. Ехали мы очень долго. Поезд то и дело останавливался из-за отсутствия топлива. Пассажиры и красноармейцы бежали в разные стороны искать все, что можно использовать как топливо. Матросы не бежали. Приносили все: дрова, деревья, кусты,

сломанный телеграфный столб, изломанную тачанку. Нагромождалась целая куча. Поезд трогался, но скоро эта куча сжигалась, и паровоз опять останавливался. Иногда, когда недалеко мелькали дома, какой-то из матросов подходил к машинисту и просил его подождать, пока он сбегает: «Вот тут, недалеко». Матрос уходил и возвращался всегда с едой. Как и где они это получали, мы не спрашивали. Матросы целый день развлекались с Наташей. Вечером я подошла к ним и хотела уложить Наташу спать. У нее уже закрывались глаза от усталости. «А где Вы ее уложите?» – спросил матрос. «На скамейке». – «Да разве ей можно спать на голой скамейке, холодно и жестко. Наташа, хочешь спать вот так?» – сказал он, укладывая ее у себя на руках. «Хочу», – сказала Наташа, нежно пряча голову у него на плече. Я стала возражать, говоря, что не может же он держать так Наташу всю ночь, она тяжелая, он устанет. «А устану, другой подержит, пока я отдохну. Вы ложитесь, а о Наташе мы позаботимся», – говорил матрос, с нежностью глядя Наташу по голове. Да, в его лице, в улыбке, в том, как он прижимал Наташу к себе, слегка ее покачивая, была нежность. Я думала о разграбленном госпитале... Не помню, сколько мы ехали. Приехав в Симферополь, матросы очень долго прощались с Наташей.

В Симферополе был Ваня, который в поисках Наташи и меня попал в Симферополь и был здесь профессором Симферопольского университета. Теперь я была не одна. Я могла передать ему всю заботу и обо мне, и о Наташе. Я была не одна, и я любила его. Во время моего приезда Вани не было дома. Он был в столовой университета, которой заведовали университетские дамы. Он обедал, когда ему прибежали сказать, что мы приехали. Дамы мне рассказывали, что он выскочил из-за стола и, когда его спросили, почему он не кончает обед, то только радостно воскликнул: «Они приехали!»

Ваня во всё наше пребывание в Крыму был деканом агрономического факультета Крымского университета, много занимался делами факультета, читал лекции и вёл большую научную работу, между прочим, по крымским пшеницам, в которой ему помогали его ассистенты Богдан и Дроздов. Кроме того, он заведовал четырьмя хозяйствами университета, очень разо-



ренными, истоптанными, засоренными белыми, Красной армией и татарами. В этом его помощниками были два брата Грековы. Надо было не только приводить поля в порядок, но и кормить университет. Мы получали от государства 100-200 г хлеба на день и больше ничего. На базарах почти ничего не было, и деньги катастрофически падали. Надо было собрать остатки хлебов и плодов, кормить скот, привести в более или менее жилой вид помещения для студентов, рабочих, профессоров в трех имениях, четвертое было в горах, и там паслись остатки отары овец. Надо было поднять хотя бы часть земли и посеять хотя бы немного травы для скота. Была уже поздняя весна, почти лето. Вместо рабочих, которых было всего несколько человек, были студенты, не умеющие обращаться ни с землей, ни со скотом, ни с садом. При университете была образована столовая, обслуживаемая женами профессоров. Столовая была платная, но купить было почти ничего нельзя, и снабжение столовой лежало тоже на Ване. Ваня ездил по имениям, где налаживал работу, вел дела по факультету и свои научные дела, распределял молоко и овощи между профессорами, ходил на заседания к комиссару Симферополя, выпрашивал там то крупы, то сена, то материал для построек. Наташа и я вместе со студентами и почти всеми профессорами агрономического факультета жили в имениях Каяш и Албашево. Впрочем, в Каяше, где сохранился один флигель, в двух крохотных комнатах жили мы с Наташей, Грековы, бухгалтер Матвеев со семьей и жена какого-то комиссара. В Каяше же жили рабочие, садовник, экономка, но в другом домике, в котором помещалась и кухня. Остальные студенты, профессора, их кухарка, писатель Тренев с семьей, Богдан, Дроздов, а потом, по приезде, тетки Ивана Вяч. с бабушкой и горничной Катей жили в Албашево. Еще в одном имении неподалеку жили студенты и бывшая там за кухарку вполне интеллигентная женщина с двумя детьми, которую приютил Ваня. От огромного дома, когда-то бывшего в Каяше, сохранилась большая двухэтажная каменная лестница, на которой профессора читали лекции. Все дети профессоров и некоторые больные жены получали по литру молока от коров из имений. При Каяше был огромный хороший, но очень запущенный сад и виноградник. Ваня жил в городе, изредка приезжая к нам, когда он читал лекции. Мы с

Наташей его почти не видели, т.к. кроме лекций в Каяше у него было очень много неотложных дел и со студентами, и по постройкам, и вообще по имению. Наташа была сыта. Мы ели какой-то обед, у нее были хлеб, молоко, и Ваня все деньги, которые он зарабатывал, тратил, чтобы у нее всегда был сахар. В то время Ваня совсем не был похож на того, какого знали потом. Он был очень худ, волосы его были еще гуще и курчавились. Одет он был в русскую рубашку и в пальто, которые Нина Вернадская ему перешила из своего. Правда, Нина была небольшого роста и худенькая, и Ваня со своими широкими плечами и высоким ростом выглядел немного комично. Вернадские ко времени моего приезда в Крым уже уехали (в Петербург, куда их вызвало правительство), но, уезжая, они нам оставили кое-какие свои вещи, которые я обменяла на базаре на материал и обшивала, правда, без машинки, на руках, Ваню, себя и Наташу. Я не умела шить, но до сих пор с гордостью смотрю на нашу семейную карточку, на которой мы все трое одеты в вещи, сшитые мною.

На чердак нашего дома вела ужасная приставная лестница, без перил и без многих ступенек. Здесь Ваня устроил лабораторию, часть которой помещалась в Симферополе, в ней распорядился Дроздов. Как хватало у Вани сил так жить. Но он всегда был бодр, никогда не раздражался, и никогда я его не видела отдыхающим. Со мной и Наташей он и после никогда не раздражался. Один из профессоров написал ему, что его больная жена не может есть то, что дают в столовой, и Ваня отдал ему свой паек хлеба, заменив его для себя свеклой. Как-то, просидев на заседании у комиссара Симферополя полдня, Ваня вышел от него и, не в силах удержаться, достал из кармана свою печеную свеклу и стал есть на улице. Комиссар увидел его в окно и, указав на Ваню другим присутствующим, сказал: «Вот такие люди нам сейчас нужны». С ним случались и смешные случаи. Как-то приехал он из Симферополя в Каяш. Я увидела, что он какой-то смущенный и грустный, и спросила, что с ним. Он нерешительно вынул из кармана письмо и подал мне. Письмо было от профессора животноводства. Жена профессора была недавно больна и как больная получала молоко. Когда она выздоровела, молоко стала получать другая. В письме профессор писал, что Ваня отнял у его жены молоко, вероятно, желая, чтобы она опять



заболела. Он этого допустить не может. Ваня слишком жесток к его жене, и поэтому он вызывает Ваню на дуэль. Ваня так растеряно смотрел на меня, что я с трудом удержалась от смеха: «Ну, что же, Ваня, держись, отказаться нельзя, – и прибавила, – только вот не знаю, на чем вы станете драться?» – Ты всегда смеёшься, а я не знаю, как быть?» – огорченно сказал Ваня. Я посмотрела на его худое, измученное лицо и сказала, обнимая его с нежностью: «Ну, какая дуэль? Это чепуха. Ему самому станет совестно». Ваня повеселел. Боже мой, как я любила его. Да не только я, все, все его любили. Один раз я была в Симферополе и пошла с ним в столовую. «Иван Вячеславович пришел!» – закричала хозяйка радостно. «Иван Вячеславович пришел!» – закричали на кухне. Одна из дам поспешно подошла к столу, вытащила откуда-то белую скатерть, постелила ее, достала красивую севрскую тарелку, серебряные ложку и вилку. «Это мы из дома принесли специально для Ивана Вячеславовича», – сказала она, весело и нежно улыбаясь. Все студенты его любили. Это подтверждают написанные ему письма и стихи перед отъездом.

Несмотря на полуголодное существование и неумелую, но большую и тяжелую работу, студенчество не унывало. Так же, как всегда, вечерами звучали песни, танцы, уходили в сад парочки, у студентов был хороший хор и у некоторых были голоса. Н.А. Дроздов безнадежно, но сильно влюбился в студентку Шуру Пасхалову. Шура, хорошенькая девушка, кокетничала со всеми, но, по уверению Дроздова, больше всех с Аведиком Мазлумовым. Николай Андрианович приходил ко мне жаловаться на Мазлумова, который грозился его отколотить, и рассказывал о своей любви к Шуре. Я его утешала, как умела. В Албашево жил со своей дочерью Вавочкой профессор Г.Н. Высоцкий. Он был очень строг к дочери и не позволял ей никуда выходить без себя. Вавочке, кроткой, милой двадцатилетней девушке, очень хотелось к студентам на их вечерние сборища. Когда Высоцкий куда-либо уходил, то строго приказывал Вавочке сидеть дома, но, не совсем доверяя её благоразумию, запирали её на ключ. Тут уже нужна была моя помощь. Я просила Георгия Николаевича пойти со мной в горы ботанизировать. Это действительно было очень интересно. Георгий Николаевич знал не только название каждой травы и цветка, но знал

откуда она происходит, какое у нее название на том языке, где ее родина, иногда очень поэтическое, и какие ей предписываются лечебные или волшебные свойства. Иногда мы уходили с Георгием Николаевичем в горы очень далеко, а тем временем студенты подобранным ключом отпирали дверь и похищали Вавочку. Выборные сторожили наше возвращение. Вавочка к приходу отца уже сидела запертая в комнате.

Был и еще один очень интересный профессор ботаники и физиологии Кузнецов. Много после они оба стали академиками. Профессор Кузнецов славился своими блестящими лекциями. Как и большинство других профессоров, он читал лекции на лестнице разрушенного дома. На площадку лестницы ставились стол, стул, доска. Студенты садились на лестницу. Ассистентом у Кузнецова была Наташа. Она должна была к его лекции приготавливать мелок, цветные карандаши, развесить таблицы. Развешивать ей помогали студенты. Задолго до лекции Наташа была готова, она всё приносила, подметала лестницу и важно садилась ждать профессора. Ей уже было почти 4 года, и она очень серьёзно относилась к своим обязанностям, так же серьёзно к ним относился и Кузнецов. Он ей говорил, какие экспонаты надо приготовить к следующей лекции, что он будет читать и о чем, чтобы она могла объяснить студентам. Н.А. Дроздов тоже уделял Наташе много внимания.

Июль, август и сентябрь стояла исключительная жара и засуха. Трава выгорала. Листья на ветках засыхали и зелеными падали на землю. Скоту и лошадям было плохо. К нам в Каяш, когда Ваня был в Симферополе, жокей привел английского скакуна с аттестатами, взявшего призы в Москве. Жокей сказал, что ему лошадь нечем кормить, и он его отдаст за полпуда муки. Хотя жокей сказал, что жеребец очень злой и норовист, но Павел Иванович (зоотехник) купил его. Он хорошо ездил верхом и, посоветовавшись с братом Романом Ивановичем, тоже хорошим ездоком, решил, что они с ним справятся. Ваня был очень недоволен, так как и свой скот голодал. Через несколько дней Павел Иванович поехал на жеребце, и жеребец вернулся один, а Павла Ивановича привезли уже в таратайке, сильно ушибленного. Следующего скакуна сбросил Роман Иванович и так неудачно, что нога Романа Ивановича осталась в стремени, и он



до самого дома волочился по земле. К счастью, Роман Иванович отделался только растяжением жил. Мне страшно хотелось поехать. Некоторое время я колебалась, но потом, выждав, когда все были в Симферополе, сказала, чтобы мне оседлали лошадь. Я знала, что надо быть осторожной, так как жеребец, если ему не удавалось сбросить всадника, вгрызался зубами ему в колено. Все обошлось благополучно. Ах, как я была довольна! Скакать по полям было наслаждением, которого я так давно была лишена. Теперь я часто и благополучно на нем ездила. Сначала Ваня беспокоился, потом привык.

Ване уже давно хотелось привезти из Ялты бабушку Аграфену Алексеевну и двух теток. Наконец, в августе он решил попросить Николая Андриановича съездить за ними. Надо было ехать, пока оставалось немного корма для лошадей, а в горах от «зеленых» стало сравнительно спокойно. Запрягли пару лошадей в арбу, на которой поехал рабочий, и другую пару в линейку, которой правил Николай Андр. Дали им буханку хлеба, сена и соломы для лошадей, я отдала свой меховой жилет в случае холода в горах, и они поехали. Я так часто слышала рассказ об этой поездке, что хочу вкратце её описать. Она был началом дружбы Николая Андр. со всей нашей семьей. Начало пути проходило благополучно. Но как только они въехали на Чатыр-Даг, послышался выстрел, и на дорогу вышли несколько вооруженных людей и схватили под уздцы лошадей. Начался обыск. Сразу нашли буханку хлеба, но тут Николай Андрианович запротестовал и просил, чтобы они взяли половину, а половину оставили им, так как им нечего есть. Люди согласились оставить третью часть и за это отдать им табак, на что Николай Андр. опять возразил, что всё они не отдадут, и отсыпал им половину. «Я, главное, – рассказывал Николай Андр., – очень боялся, что они найдут кацавейку Марии Федоровны, она была спрятана под сиденьем, под соломой. Я думал, ну как я приеду без кацавейки? К счастью, они ее не нашли и нас отпустили». Они доехали благополучно до Ялты, явились к теткам, и Николай Андр. объявил, что завтра они выезжают. Тетки заохали, особенно Катя, их давняя домработница, и просили отложить хотя бы на два дня. Но Николай Андр. категорически сказал, что завтра они выезжают, так как корма лошадям почти не осталось. «Я, знаете,

Мария Федоровна, с ними был строг, – говорил Николай Андр., хмуря белокурые брови и поднимая на меня свое юное и наивное лицо. – Я как стукну рукой по столу – укладывайтесь!» Людмила Николаевна сказала, что не знает, как ей быть: она уже давно отдала спекулянту свою бриллиантовую брошь, а он не несет деньги. «Я узнал, где живет спекулянт, пошел к нему и говорю: «Вам отдали брошь, давайте её сюда!» Он было замялся, а я говорю, что сейчас же иду к начальнику ЧК, он мой приятель. Тот испугался и отдал. Нагрузили они арбу до отказа. Какие-то корзинки, кресла, постели, бочка с хамсой и т.д. Хотели еще положить пианино, но Николай Андр. запротестовал, взял бабушку на руки, посадил в линейку. Укутали они ее, обложили подушками, сели тетушки с Катей и поехали. Доехали до подъема в горы – лошади стали. Я говорю: «Бросайте вещи под откос!» Катя заохала, а я говорю конюху: «Бросай!» Все эти столы, кресла полетели. Поехали – опять стали лошади. Я кричу: «Бросай еще!» И кровати полетели. Потом кричу: «Рвите листья, сухую траву, лошади голодные не пойдут». Мы с конюхом рвали, и Варвара Николаевна с Катей стали рвать. Поехали – опять лошади не идут. А на арбе стоит большая бочка с хамсой. «Бросайте бочку!» Катя как заголосит – не дает бочку. Я кричу: «Оставляйте Катю с бочкой!» Она испугалась и спрашивает: «Куда же я денусь?» – «Уходите назад в Ялту с бочкой!» Тетушки молчат. Катя села в линейку с плачем. Пустил я бочку под откос. Нарвали еще листьев. Варвара Николаевна сорвала 4 листика и несет лошадям. И так всю дорогу, а кацавейку я все же сберег. Со времени поездки Катя боялась Николая Андриановича как огня, бежала исполнять его просьбы и уверяла всех, что он очень жестокий: «Прямо зверь: хотел меня под откос бросить». Николай Андр. тоже старался мне доказать, что он умеет быть решительным и строгим и очень обижался, когда я при его рассказе смеялась.

1. Татаринов Федор Васильевич (1865 – 1933) либеральный земский деятель Орловской губернии (мировой судья, председатель уездной управы). Владелец имения Хотетово около станции Становой Колодец близ Орла. В 1905-1906 гг. был депутатом Государственной Думы от партии конституционных демократов, к левому крылу которой он принадлежал



вместе со своим двоюродным братом А.Н. фон Рутценом и мужем двоюродной сестры В.Е. Якушкиным. См. также *Вострикова, В.В.* Фёдор Васильевич Татаринцов: «...строить здание народной свободы» // Орловские либералы: люди, события, эпоха / Под общей редакцией д.ф.н. А.А. Кара-Мурзы. – Орёл: Издатель Александр Воробьёв, 2010. – С. 86-94. – 132 с. – ISBN 978-5-91468-057-9.

2. Якушкин Иван Вячеславович (1885 – 1960) родился в семье внука декабриста известного филолога и общественного деятеля Вячеслава Евгеньевича Якушкина. Его мать Ольга Николаевна, урожд. Фон Рутцен, была двоюродной сестрой Федора Васильевича Татаринцова. И.В. окончил Московский сельскохозяйственный институт (Петровскую академию), после чего работал в Полтавском земстве участковым агрономом. В 1913 году он вернулся к научно-педагогической работе в Петровской академии. В том же году он женился на своей троюродной сестре Марии Татаринцовой. С 1913 по 1917 гг. И.В. и М.Ф. жили в доме около Соломенной Сторожки, поблизости от Петровского-Разумовского. В 1917 году И.В. был избран профессором организованного тогда Воронежского сельскохозяйственного института (ВСХИ) и в 1922-1930 гг. работал профессором ВСХИ, а также директором организованной им Рамонской опытной станции. В 1920-1922 годах И.В. работал профессором Таврического университета в Симферополе. В 1930 году И.В. был арестован как противник коллективизации. Об аресте И.В. Якушкина см.: *Плаксин, В.Н.* «Сталинизм и агрономическая интеллигенция». – Ч. 1. – Воронеж, 2003. По выходе из заключения (1933-1957) работал профессором (заведующим кафедрой растениеводства) ТСХА. В 1934 году был избран академиком ВАСХНИЛ.

3. Таврический университет в г. Симферополе был основан в 1918 году по инициативе известного земского деятеля С.С. Крыма. В 1918-1922 гг. там работали многие выдающиеся ученые, в том числе В.И. Вернадский, товарищ отца И.В. по партии В.И. Вернадский вспоминал о занятии Крыма большевиками. «Я чуть-чуть не поддался панике: сидел в экипаже с Н.Е. (Вернадской), Ниночкой (Н.В. Вернадской), И.В. Якушкиным. Вовремя спохватился и решил ждать большевиков». *Вернадский, В.И.* Дневники 1926–1934. – М.: Наука, 2001.

4. Якушкина Наталья Ивановна (в воспоминаниях Наташа) (1917–2006), профессор, доктор биологических наук, специалист и автор учебника по физиологии растений. Окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева и аспирантуру при ВИУАА им. Гедройца под руководством проф. Е.В. Бобко. В 1951–1961 гг. заведовала кафедрой физиологии растений в ВГУ, а в 1961–1987 гг. – кафедрой ботаники в МОПИ им. Крупской.

5. Фурманов Д.И. в конце августа 1920 г. приехал в Екатеринодар и пробыл там до мая 1921 года. 5 марта 1921 года он сделал в дневнике запись о смерти матери, он пишет: «Мама, Лиза, Настя жили во владениях Врангеля, и мы никак не могли их достичь. Но Врангеля уничтожили, освободили Крым, а вместе с тем и мы установили, завязали связи с дорогой частицей разбросанной семьи. Сегодня Лиза прислала письмо». Е.А. Фурманова (1899- ?) *Д.А. Фурманов.* Собр. соч., т. 4, стр. 247. – М.: ГИХЛ 1967.

6. Султан-Гирей Сагат Асланович (1895, Адыгейская АО, аул Кюстен-хабсн), электромонтер Усманской трудколони, житель Усманского р-на, Новоуглянка. Обв. 58-10. Расстрел [Книга Памяти Липецкой обл.].

О Султан-Гирее см. *Щербина, Я.А.* История Кубанского казачьего войска. – Т. 2. – Екатеринодар, 1914 год.

7. Высоцкий Г.Н. (1865–1940), ботаник, академик АН УССР. В 1919–1922 – профессор Крымского университета.

8. Кузнецов Н.И. (1864–1932), ботаник. В 1918 – 1921 – профессор Крымского университета.

9. Мазлумов А.Л. (1896–1972), селекционер, лауреат Ленинской премии; Дроздов Н.А., профессор Ленинградского сельскохозяйственного института; Богдан П.И., профессор Крымского, а затем Алтайского сельскохозяйственного института – ученики И.В. Якушкина по Таврическому университету, переехавшие с ним в Воронеж и ставшие известными учеными.

10. Фон Рутцен А.А., Л.Н., В.Н. – вдова и дочери Николая Карловича фон Рутцен, известного общественного деятеля эпохи Великой реформы, родного деда И.В. Якушкина и двоюродного деда М.Ф. Якушкиной, известные благотворительницы. О Н.К. фон Рутцене см. *Чернов, Н.М.* Провинциальный Тургенев. – М.: Центрполиграф, 2003. – 426 с. – ISBN 5-9524-0071-X.

